





Александр ДЮМА



ИСТОРИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2017

УДК 821.161.1
ББК 84.(Фр)6-5
Д96

Серия основана
в 2007 году

ALEXANDRE DUMAS
CRIMES CELEBRES

Перевод с французского

Дюма А.

Д96 История знаменитых преступлений. Полное иллюстрированное издание в одном томе./Пер. с фр. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1278 с.: ил. — (Полное иллюстрированное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-2488-7

В настоящее издание входят 18 исторических новелл великого французского писателя Александра Дюма, объединенные автором в цикл под названием «История знаменитых преступлений». Новеллы посвящены самым знаменитым преступлениям и преступникам в европейской истории, от Англии до России, от эпохи Возрождения до XIX века.

Драматические эпизоды из жизни Марии Стюарт, членов семейства Борджа, Мюрата и других известных всему миру исторических персонажей, имена которых овеяны славой, почитанием и ужасом, описаны Дюма с тем же блеском, что и приключения его литературных героев.

УДК 821.161.1
ББК 84.(Фр.)6-5

© Л. Цывьян, наследники, 2017
© И. Русецкий, наследники, 2017
© О. Кустова, наследники, 2017
© Г. Лихачева, 2017
© С. Голова, 2017
© Е. Баевская, 2017
© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017

ISBN 978-5-9922-2488-7

СЕМЕЙСТВО ЧЕНЧИ

Если вы приедете в Рим и, конечно, посетите виллу Памфили, то, искав там под высокими соснами и у каналов тень и прохладу, которые так редки в столице христианского мира, вы отправитесь на холм Джаникуло по прелестной дороге и на середине ее увидите источник Паолины. Миновав этот памятник и задержавшись на минуту на террасе церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио, возвышающейся над Римом, вы посетите монастырь Браманте¹, в центре которого в небольшой впадине, на том самом месте, где был распят апостол Петр, построен маленький храм, полугреческий, полухристианский; затем через боковую дверь вы войдете в самую церковь. Там чичероне заставит вас посмотреть в первом приделе справа «Бичевание Христа» Себастьяно дель Пьомбо², а в третьем приделе слева «Христа во гробе» Фьяминго; дав вам вволю налюбоваться этими двумя шедеврами, он проведет вас по всем четырем концам нефа и трансепта и продемонстрирует в одном картину Сальвиати, писанную в серо-жемчужных тонах, а в другом холст Вазари, потом, приняв скорбный вид, он покажет вам над главным алтарем копию «Мученичества святого Петра» Гвидо и сообщит, что в течение трех столетий здесь любовались «Преображением» божественного Рафаэля, которое в 1809 году было похищено французами, а в 1814-м возвращено союзниками папе. Но поскольку вы, очевидно, уже восхищались этим шедевром в Ватикане, не мешайте ему говорить и поищите у алтаря надгробную плиту, которую вы распознаете по кресту и одному-единственному слову «Ogate»³; под этой плитой погребена Беатриче Ченчи, чья трагическая история, несомненно, произведет на вас глубокое впечатление.

Она была дочерью Франческо Ченчи. И если кто-то верит, что люди рождаются в гармонии со своим временем, причем одни это понимают в хорошем смысле, а другие иначе, то, может быть, нашим чи-

¹ Браманте, Донато (1444—1514) — итальянский архитектор. В 1502 году построил во дворе церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио упоминаемый А. Дюма небольшой храм, называемый Темплетто, т. е. «храмик», шедевр архитектуры Высокого Возрождения. (*Здесь и далее примеч. переводчиков, кроме специально оговоренных случаев.*)

² Здесь и ниже Дюма упоминает итальянских художников периода Возрождения: Себастьяно дель Пьомбо (1485—1547), Чекко Росси де Сальвиати (1510—1563), Гвидо Рени (1575—1642), Джорджо Вазари (1511—1574).

³ Молитесь (*лат.*).

тателям будет любопытно бросить взгляд на период, предшествующий тому, когда произошли события, о которых мы намерены рассказать. И тогда Франческо Ченчи предстанет перед ними как дьявольское воплощение своей эпохи.

11 августа 1492 года после продолжительной агонии Иннокентия VIII¹, во время которой на улицах Рима было совершено двести двадцать убийств, на папский престол взошел Александр VI. Сын сестры папы Каликста III², Родриго Ленцоли Борджа, прежде чем стать кардиналом, прижил пятерых детей с римлянкой Ваночцей Катанеи, которую впоследствии выдал замуж за богатого римлянина. Вот его дети:

Джованни, который был герцогом Гандии.

Чезаре, который был епископом, кардиналом, а потом герцогом Валентинуа.

Лукреция, побывав сперва любовницей отца и обоих братьев, четырежды выходила замуж: в первый раз за Джованни Сфорца, владельца Пезары, которого оставила по причине его импотенции; во второй — за Альфонсо, герцога Бичелья, которого Чезаре приказал убить; в третий — за Альфонсо д'Эсте, герцога Феррарского, с которым она также развелась; наконец, в четвертый — за Альфонса Арагонского, который сперва был пронзен кинжалом на ступенях базилики Святого Петра, а через три недели удушен, так как слишком долго не желал умирать от ран, хотя те были смертельными.

Гофредо, граф Скуиллаче, о котором почти ничего не известно.

И наконец, последний, о котором не известно совершенно ничего.

Самым знаменитым из троих братьев был Чезаре Борджа; он все подготовил к тому, чтобы стать после смерти отца королем Италии, и меры были приняты им такие, что не оставалось никаких сомнений в успехе этого грандиозного плана. Предусмотрены были все обстоятельства, кроме одного, но чтобы предвидеть его, надо было быть дьяволом. Однако пусть читатель судит сам.

Папа пригласил кардинала Адриана отужинать на своем винограднике в Бельведере. Кардинал Адриан был безмерно богат, и папа жаждал стать его наследником, как уже стал наследником кардиналов Сант-Анджело: Капуанского и Моденского. Для этой цели Чезаре Борджа прислал отцовскому кравчему две бутылки отравленного вина, однако не поставил его в известность о том, что оно отравлено, а лишь распорядился подать это вино только тогда, когда будет приказано; к несчастью, кравчий на минуту удалился, а в это время ничего не подозревающий слуга налил вина из одной из этих бутылок папе, Чезаре Борджа и кардиналу Корнето.

Александр VI скончался через несколько часов; Чезаре Борджа долго был прикован к постели, и у него слезла вся кожа; кардинал же Корнето, утратив зрение и способность пользоваться остальными органами чувств, тяжело заболел и уже думал, что умрет.

¹ Иннокентий VIII (1432—1492) — римский папа с 1484 года.

² Каликст III (Альфонсо Борха) — римский папа в 1455—1458 гг.

Александр VI наследовал Пий III; он пробыл на папском престоле двадцать пять дней, а на двадцать шестой был отравлен.

Чезаре Борджа опирался на восемнадцать испанских кардиналов, которые были обязаны ему избранием в священную коллегия; они безоговорочно стояли за него, и он мог распоряжаться ими, как хотел. Но поскольку он все еще был при смерти и не в силах воспользоваться ими в своих целях, он продал их голоса Джулиано делла Ровере, и тот был избран папой под именем Юлия II. Рим Нерона сменили Афины эпохи Перикла.

Лев X¹ продолжал линию Юлия II, и христианство в период его понтификата приняло языческий характер, что придало эпохе, ежели перейти от искусства к нравам, несколько странный оттенок. Злодеяния мгновенно прекратились, уступив место порокам, но порокам очаровательным, в хорошем вкусе, вроде тех, которым предавался Алкивиад² и которые воспевал Катулл³. Лев X умер, пробыв на папском престоле восемь лет восемь месяцев и девятнадцать дней и собрав за это время в Риме Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Корреджо, Тициана, Андреа дель Сарто, Фрате, Джулио Романо, Ариосто, Гвиччардини и Макиавелли⁴.

После его смерти за избрание соперничали Джулио Медичи и Помпео Колонна. Поскольку оба были опытные политики и ловкие царедворцы, а кроме того, практически равны по своим достоинствам, ни один из них долго не мог получить большинства, и конклав все длился, к великому неудовольствию кардиналов. И вот однажды некий кардинал, видимо утомившийся более других, предложил вместо Медичи или Колонны избрать сына, одни говорят, ткача, а другие — пивовара из Утрехта, о котором никто до сей поры и не думал и который в ту пору был, в отсутствие Карла V, правителем Испанского королевства. Шутка имела успех; кардиналы обрадовались предложению, и вот так, по чистой случайности, Адриан⁵ стал папой.

То был подлинный фламандец, не знавший ни слова по-итальянски. Когда он прибыл в Рим и увидел шедевры греческих ваятелей, с огромными затратами собранные Львом X, то хотел отдать приказ разбить их, воскликнув: «*Sint idola antiquorum!*»⁶ Первейшей его заботой была по-

¹ Лев X (Джованни Медичи) (1475—1521) избран папой на конклаве в 1513 г.

² Алкивиад (451—404 до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец, ему приписывается склонность к мужеложству.

³ Гай Валерий Катулл (ок. 87 — ок. 54 до н. э.) — римский поэт.

⁴ Корреджо (Аллегро) Антонио (ок. 1489—1534); Тициан (Тициано Вечелли) (ок. 1476/1477—1576); Андреа дель Сарто (1486—1530); Фрате — прозвище Бартоломео делла Порта (1472 или 1475—1517); Джулио Романо (Джулио Пиппи) (1492 или 1499—1546) — итальянские художники, работавшие в Риме. Ариосто, Лудовико (1474—1533) — итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Роланд». Гвиччардини, Франческо (1483—1540) — итальянский философ-гуманист, историк («История Италии»). Макиавелли, Никколо (1469—1527) — итальянский политический мыслитель, писатель, сторонник объединения Италии.

⁵ Адриан Дедел (1459—1523) — воспитатель императора Священной Римской империи Карла V, по настоянию которого в 1522 г. он был избран папой под именем Адриана VI.

⁶ Это же древние идолы! (*лат.*)

сылка на имперский сейм в Нюрнберг, собравшийся по причине вызванного Лютером возмущения, нунция Франческо Керегати с инструкциями, которые вполне дают представление о нравах той эпохи.

«Чистосердечно признайте, — велел папа, — что Господь попустил сей раскол и смятение по причине грехов людей, особливо священнослужителей и князей церкви, ибо ведомо нам, что в курии происходит множество мерзостей».

Адриан хотел вернуть римлян к простым и строгим нравам времен раннего христианства и с этой целью подготовил разработанную до мелочей реформу. К примеру, из ста конюхов, которые были у Льва X, он оставил только двенадцать, и то лишь затем, чтобы, как он сказал, иметь на два конюха больше, чем у кардиналов.

Такой папа не мог долго править и умер через год после избрания. Назавтра после смерти дверь дома папского врача была украшена цветочными гирляндами с надписью: «Избавителю отечества».

Джулио Медичи и Помпео Колонна вновь вступили в соперничество. Опять начались интриги, конклав опять разделился, причем до такой степени, что кардиналы стали уже подумывать, а не стоит ли, дабы выйти из создавшегося положения, снова прибегнуть к однажды использованному средству, то есть избрать третье лицо; уже стали поговаривать о кардинале Орсини, но тут Джулио Медичи придумал достаточно невинную уловку. Ему не хватало пяти голосов; пять его сторонников предложили пяти сторонникам Колонны пари: они ставили сто тысяч дукатов против десяти тысяч, что Джулио Медичи не будет избран. В первом же после этого пари туре выборов Джулио Медичи получил пять недостававших ему голосов, но претензий тут никаких быть не могло: кардиналы отнюдь не продали голоса, они всего-навсего заключили пари.

В результате 18 ноября 1523 года Джулио Медичи был провозглашен папой под именем Климента VII. В тот же день он благородно уплатил пятьсот тысяч дукатов, проигранных его сторонниками.

В его понтификат, в один из тех семи месяцев, когда Рим, взятый солдатами-лютеранами коннетабля де Бурбона¹, с ужасом взирал, как оскверняются самые святые реликвии, родился Франческо Ченчи.

Он был сыном мессира Ченчи, апостолического казначея в понтификате Пия V. Этот папа куда больше был занят духовными вопросами, нежели мирскими делами своего государства, и Никколо Ченчи весьма успешно воспользовался безразличием святейшего отца к светской стороне жизни, сколотив себе состояние, дававшее доход в сто шестьдесят тысяч пиастров, то есть в два с половиной миллиона франков по теперешнему курсу. Франческо Ченчи, бывший его единственным сыном, унаследовал все это богатство.

¹ Шарль, герцог де Бурбон (1490—1527) — коннетабль (главнокомандующий войсками) французского короля Франциска I, вступил в тайные сношения с императором Карлом V и после разоблачения бежал к испанцам, был назначен императором командующим императорской армией в Италии, в 1527 году осадил Рим и во время осады был убит. Имперские войска, состоявшие по большей части из немецких наемников, взяли город и подвергли его чудовишному разграблению.

Юность его прошла при папах, которые так были заняты Лютеровой схизмой, что у них просто не было времени подумать о чем-либо другом. Поэтому дон Франческо Ченчи, родившись с дурными задатками и будучи притом обладателем огромного состояния, которое обеспечивало ему безнаказанность, имел возможность следовать всем побуждениям своего пылкого и необузданного темперамента. Трижды оказавшись в тюрьме по причине своих гнусных любовных наклонностей, он выходил из нее, платя за это примерно по двести тысяч пиастров, то есть три миллиона франков. Надо заметить, что в ту эпоху папы крайне нуждались в деньгах.

Серьезно начали заниматься Франческо Ченчи при папе Григории XIII¹. И то сказать, понтификат наилучшим образом подходил для того, чтобы добиться дурной славы, к которой стремился этот странный донжуан. В правление болонца Бонкомпаньи в Риме было позволено все при условии, что человек мог заплатить и убийце и судьям. Насилие и душегубство стали настолько обычным делом, что правосудие практически не занималось подобными пустяками, ежели на месте не оказывалось никого, чтобы преследовать преступника; зато Господь вознаграждал доброго Григория XIII за его снисходительность — доставил ему радость узреть Варфоломеевскую ночь.

В ту пору Франческо Ченчи было уже года сорок четыре — сорок пять; росту он был около пяти футов четырех дюймов, хорошо сложен и очень силен, хотя с виду худощав. Волосы у него были с проседью, глаза большие и выразительные, правда, верхние веки несколько тяжеловаты, нос длинный, губы тонкие, улыбка приятная; впрочем, она очень легко меняла выражение и становилась злобной, если его взгляд встречал врага; тогда, а также при незначительном даже волнении или гневе его начинала бить нервная дрожь, которая продолжалась, хотя и куда слабее, еще долго после того, как приступ, вызвавший ее, прекращался. Ловкий во всех физических упражнениях, особенно в верховой езде, он неоднократно проезжал из Рима в Неаполь без остановки, хотя расстояние между этими городами составляет сорок одно лье, причем ехал через леса Сан-Джермано и Понтинские болота, ничуть не тревожась из-за разбойников, а ведь несколько раз он этот путь проделывал один, вооруженный только шпагой или кинжалом. Когда конь его падал от усталости, он покупал другого, а ежели продавать не хотели — брал силой; в случае сопротивления наносил удар, и всегда сталью, а не кулаком. Впрочем, поскольку во всех владениях, принадлежащих его святейшеству, хорошо знали и самого Ченчи, и его щедрость, никто не противился его воле — одни, движимые страхом, другие корыстью. Нечестивец, богохульник и атеист, он никогда не ходил в церковь, а уж если заглядывал туда, то лишь ради какого-нибудь богохульства. Ходили толки, что он жаден до всяких нелепостей и несообразностей и что нет такого преступления, которого он не совершил бы, если полагал, что оно позволит ему испытать какое-нибудь новое ощущение.

¹ Григорий XIII (Уго Бонкомпаньи) (1512—1586) — папа с 1572 г., ввел современный (григорианский) календарь.

В возрасте около сорока пяти лет он женился на одной очень богатой женщине, имени которой не приводит ни один из хронистов. Она скончалась, оставив ему семь детей — пятерых сыновей и двух дочек. После ее смерти он женился вторым браком на Лукреции Петрони; у нее была ослепительно-белая кожа, и она являла собой совершенный тип римской красоты. Второй его брак был бездетным.

Франческо Ченчи ненавидел своих отпрысков, как если бы ему были совершенно чужды все естественные человеческие чувства, и даже не пытался скрывать ненависть, которую к ним питал. Он велел построить во дворе своего великолепного дворца, расположенного неподалеку от берега Тибра, церковь во имя святого Фомы и однажды, велел архитектору показать план склепа, бросил: «Вот сюда я надеюсь всех их уложить». Архитектор впоследствии признавался, что пришел в ужас от зловещего смеха, каким Франческо Ченчи сопровождал свое высказывание, и что если бы не большие деньги, которые ему предстояло получить, он тут же отказался бы продолжать строительство.

Чуть только старшие его сыновья Джакомо, Кристофоро и Рокко выросли, он тут же отослал их в Испанию в Саламанкский университет; очевидно, Франческо полагал, что достаточно их удалить и он навсегда избавится от них; едва они уехали, он перестал думать о них и даже посылать им содержание. После нескольких месяцев борьбы с нищетой трем несчастным юношам пришлось покинуть Саламанку; пешком, босые, прося по пути подавание, они пересекли всю Францию и Италию, возвратились в Рим и обнаружили, что отец стал еще более суровым, непримиримым, жестоким, чем прежде.

То были первые годы правления Климента VIII¹, славившегося справедливостью. Молодые люди решили обратиться к нему с прошением, чтобы его святейшество повелел их отцу назначить им из своих огромных богатств хотя бы небольшую пенсию. Они приехали во Фраскати, где папа строил прекрасную виллу Альдобрандини, и представили ему свою просьбу; папа признал их правоту и повелел Франческо выплачивать каждому из них пенсию в две тысячи эку. Франческо всеми правдами и неправдами пытался обойти это решение, но получил настолько точный приказ, что ему оставалось только подчиниться.

Как раз в это время он в третий раз был заключен в тюрьму за свои гнусные любовные похождения. Трое его сыновей вновь обратились к папе, утверждая, что отец бесчестит их имя, и умоляя применить к нему закон во всей его строгости. Папа счел такой поступок сыновей чудовищным и с позором прогнал их с глаз. Франческо же и на этот раз, как дважды до этого, уплатив большие деньги, вышел из тюрьмы.

Само собой разумеется, подобные прошения не способствовали тому, чтобы ненависть, какую испытывал Франческо к своим детям, превратилась в любовь, но поскольку сыновья, обретшие независимость благодаря получаемой ими пенсии, имели возможность избежать злости отца, гнев его обратился на двух несчастных дочерей. Вскоре их положение стало до такой степени невыносимым, что стар-

¹ Климент VIII (Ипполито Альдобрандини) (1536—1605) — римский папа с 1592 г.

шая, хотя за ней был очень суровый надзор, сумела переслать папе слезное прошение, в котором рассказывала о чудовищном обращении с ней и умоляла его святейшество выдать ее замуж либо поместить в монастырь. Климент VIII сжалился над ней; он заставил Франческо Ченчи дать дочери в приданое шестьдесят тысяч экю и выдал ее за Карло Габриелли из благородного рода Губбио. Франческо чуть было не сошел с ума от злости, что у него вырвали эту жертву.

К тому времени смерть освободила его от двух детей; Рокко, а примерно год спустя и Кристофоро были убиты: один — колбасником, имя которого не сохранилось; второй — Паоло Корсо ди Масса. Это хоть в какой-то мере утешило Франческо, который и после смерти преследовал сыновей своей скаредностью: он объявил священникам, что не возместит церкви ни гроша из расходов на похороны. Умерших опустили в склеп, который Франческо сам приготовил для них, в гробах, предназначенных для нищих; увидев их, лежащих рядом, он воскликнул, что уже вполне счастлив, поскольку избавился от двух столь мерзких тварей, но полное счастье изведает, только когда остальные пятеро детей улягутся рядышком с первыми двумя, а когда умрет последний, он в знак радости устроит иллюминацию у себя во дворце, предав его огню.

Тем не менее Франческо принял все предосторожности, чтобы вторая дочь его Беатриче Ченчи не последовала примеру старшей. В ту пору Беатриче было лет двенадцать-тринадцать, она была прекрасна и невинна, как ангел. Длинные светлые волосы того дивного оттенка, который настолько редок в Италии, что Рафаэль почитал его божественным и придавал всем своим мадоннам, обрамляли лицо восхитительного очертания и крупными кудрями струились по плечам; лазурно-голубые глаза сияли небесной добротой; она была среднего роста, но сложена очень пропорционально, и в те редкие мгновения, когда не плакала и могла высказать свой природный нрав, становилось ясно, что у нее живой, жизнерадостный, ласковый, но в то же время твердый характер.

Для вящего своего спокойствия Франческо держал ее взаперти в комнате, отделенной от остального дворца, и ключ от этой комнаты был только у него. Каждый день этот странный, непреклонный тюремщик навещал ее, принося еду. До того как ей исполнилось тринадцать лет, Франческо был с нею неумолимо суров, но вскоре, к удивлению несчастной Беатриче, стал ласковым. А произошло это потому, что Беатриче из ребенка превратилась в девушку, ее красота раскрылась, как цветок, и Франческо, не страшившийся никакого преступления, остановил на ней похотливый взор.

Само собой разумеется, что при том воспитании, какое получила Беатриче, лишенная общения с людьми и даже с мачехой, она пребывала в полном неведении относительно добра и зла, и погубить ее было легче, нежели кого-либо другого; тем не менее Франческо, чтобы добиться своей дьявольской цели, пустил в ход всю свою изобретательность.

В течение некоторого времени Беатриче каждую ночь просыпалась от сладостной музыки, доносившейся, казалось ей, из рая. Когда она

заговорила об этом с отцом, он не разрушил ее иллюзию и только добавил, что ежели она будет ласковой и покорной, то по особой милости Господа не только услышит райскую музыку, но и увидит сам рай.

Действительно, однажды ночью, когда Беатриче, лежа в постели, внимала чарующей мелодии, дверь ее комнаты внезапно растворилась, и взгляд ее из темноты проник в ярко освещенные залы, наполненные ароматами, какие вдыхаешь в снах; по залам прохаживались прекрасные юноши и женщины, излучавшие, казалось, радость и счастье; они были полунагие, как на виденных ею полотнах Гвидо и Рафаэля; то были миньоны и фаворитки Франческо, который при своем поистине королевском богатстве каждую ночь устраивал оргии, подобные оргиям Александра Борджа на свадьбах Лукреции и распутству Тиберия¹ на Капри. Через час дверь затворилась, скрыв соблазнительные картины и оставив Беатриче в изумлении и тревоге.

Следующей ночью все повторилось с той лишь разницей, что на сей раз Франческо вошел в комнату дочери и пригласил ее принять участие в празднестве. Франческо был голый. Сама не зная почему, Беатриче поняла, что поступит скверно, уступив настояниям отца, и ответила, что не видит среди этих женщин Лукрецию Петрони, свою мачеху, а потому не смеет встать с постели и выйти к незнакомым людям. Франческо угрожал и умолял, но и угрозы, и мольбы оказались безуспешными. Беатриче завернулась в простыни и наотрез отказалась подчиниться отцу.

Назавтра она легла в постель одетая. В обычный час дверь открылась, и Беатриче вновь увидела ту же картину. Но теперь среди женщин, прогуливавшихся у ее дверей, была и Лукреция Петрони: муж силой принудил ее к этому. Беатриче находилась слишком далеко, чтобы видеть ее слезы и краску стыда. Франческо указал дочери на мачеху, которую она тщетно искала вчера, и поскольку девочке нечего было возразить, он повел ее, зардевшуюся и смущенную, туда, где происходила оргия.

Там Беатриче увидела вещи доселе неведомые ей и омерзительные!

Тем не менее она долго сопротивлялась: некий внутренний голос подсказывал ей, что все это чудовищно, но Франческо была свойственна неспешная настойчивость демона. Эти картины, которые, как он полагал, способны пробудить чувственность девочки, он сопровождал и лживыми измышлениями, дабы ввести ее в заблуждение; он говорил ей, что все величайшие святые, которых чтит христианская церковь, рождены от сожительства отца с дочерью, и Беатриче совершила преступление, даже не подозревая, какой это грех.

С тех пор грубости и свирепости Франческо не было предела: он принудил Лукрецию и Беатриче одновременно делить с ним ложе, пригрозив жене убить ее, если она хоть словом обмолвится дочери, сколь чудовищно такое сожительство. Так все и продолжалось в течение почти трех лет.

¹ Тиберий (42 г. до н. э. — 37 г. н. э.) — римский император с 14 г. н. э. С 26 года безвыездно пребывал на Капри.

Однажды Франческо потребовалось на время уехать, и женщины остались одни. Первое, что сделала Лукреция, — открыла Беатриче глаза на всю постыдность их жизни; и тогда они написали папе совместное прошение, в котором рассказывали, сколько им пришлось вынести издевательств и побоев. Однако Франческо Ченчи принял перед отъездом меры предосторожности: все, кто окружал папу, были либо подкуплены, либо надеялись на мзду. Жалоба не дошла до его святейшества, и несчастные женщины, припомнив, как Климент VIII некогда прогнал с глаз Джакомо, Кристофоро и Рокко, решили, что они тоже лишены покровительства закона, и больше уже ни на что не надеялись.

Тем временем, пользуясь отсутствием отца, их навестил Джакомо и привел с собой своего друга, аббата по фамилии Гуэрра; то был молодой человек лет двадцати пяти — двадцати шести, принадлежавший к одному из самых знатных римских родов, обладавший пылким, решительным и отважным нравом, а что касается внешности, то молва о его красоте была на устах всех женщин. У него были крупные римские черты лица, поразительно ласковые синие глаза, длинные светлые волосы и при этом темно-русые борода и брови; добавьте к этому обширные знания, обаятельное природное красноречие, проникновенный мягкий голос — и вы будете иметь представление об аббате Гуэрре.

Он влюбился в Беатриче с первого взгляда. Девушка тоже прониклась симпатией к красавцу-прелату. Дело происходило до Тридентского собора¹, и духовные лица еще могли вступать в брак. Было договорено, что после возвращения Франческо аббат Гуэрра попросит у него руки дочери, и обе женщины, счастливые отсутствием их господина, строили планы на лучшее будущее.

Месяца через четыре возвратился Франческо, причем никто не знал, что он делал все это время. В первую же ночь он пожелал предаваться кровосмесительным забавам с дочерью, однако Беатриче была уже не та: вместо боязливой, покорного ребенка он увидел возмущенную девушку; на нее не действовали ни мольбы, ни угрозы, ни побои: любовь придала ей силы.

Гнев Франческо пал на жену; обвинив ее в том, что она его предала, он жестоко избил ее палкой. Лукреция Петрони была истинной римской волчицей, страстной и в любви, и в мщении; она все вытерпела, но ничего не простила.

И вот спустя несколько дней аббат Гуэрра явился к Франческе Ченчи с намерением просить руки его дочери. Гуэрра был богат, молод, красив, происходил из благородной семьи, так что у него не было никаких сомнений в положительном ответе, однако Франческо грубо выпроводил его. Тем не менее отказ не обескуражил молодого человека, он возобновил попытку еще раз, а затем и в третий, доказывая все преимущества этого брака. Наконец потерявший терпение Франческо объявил, что есть одна важная причина, по которой Беатриче никогда

¹ Тридентский собор — Вселенский собор католической церкви, заседавший в 1545—1563 гг. в г. Тренто (*лат.* Тридентум), на котором были проведены значительные церковные реформы.

не станет женой Гуэрры, равно как и ничьей другой. Гуэрра поинтересовался, что же это за причина, и Франческо ответил:

— Потому что она моя любовница.

Услышав такой ответ, монсиньор Гуэрра побледнел и поначалу не хотел верить, однако, увидев, какой улыбкой Франческо Ченчи сопроводил свои слова, понял: это правда, как она ни чудовишна.

Три дня понадобилось Гуэрре, чтобы проникнуть к Беатриче, и наконец он увиделся с нею. Он еще надеялся, что Беатриче скажет, что отец солгал, однако она ничего не стала отрицать. С этой минуты для влюбленных не осталось никакой надежды: их разделила непреодолимая пропасть. Молодые люди расстались в слезах, поклявшись вечно любить друг друга.

Между тем обе женщины еще не приняли никакого преступного решения, и, возможно, все так бы и пошло без шума и огласки, если бы однажды ночью Франческо не вошел в комнату к дочери и вновь не принудил силой к греху кровосмешения. Тем самым он подписал себе приговор.

Мы уже говорили, что Беатриче принадлежала к существам, способным и на самые темные, и на самые светлые чувства, она могла и вознестись на вершины добра, и пасть в бездну зла. Она обратилась к мачехе и поведала ей о новом осквернении, жертвой которого стала; рассказ напомнил Лукреции, как муж избил ее, и обе женщины, наперебой растравляя раны друг друга, решили убить Франческо.

На совет относительно убийства позвали Гуэрру. Сердце его было исполнено ненависти, он думал только о мести. Гуэрра вызвался привести Джакомо Ченчи, без которого женщины не соглашались приступить к решительным действиям, поскольку он, как старший сын, был главой семьи. Джакомо Ченчи сразу же согласился вступить в заговор. Как помнят читатели, некогда Джакомо сам страдал от отца; впоследствии он женился, и неумолимый старик оставил его вместе с женой и детьми в бедности. Для обсуждения подробностей были выбраны апартаменты монсиньора Гуэрры. Джакомо нашел одного *сбира*¹, которого звали Марцио, второго, по имени Олимпио, нашел Гуэрра.

У обоих были причины пойти на преступление: у одного это была любовь, у второго — ненависть. Марцио был в услужении у Джакомо, имел возможность видеть Беатриче, в которую влюбился; эта, само собой разумеется, безмолвная, безнадежная любовь терзала ему душу. Подумав, что преступление как-то приблизит его к Беатриче, он согласился без раздумий.

Что же касается Олимпио, он ненавидел Франческо, потому что из-за него потерял место кастеляна замка-крепости Рокка Петрелла, находящегося в Неаполитанском королевстве и принадлежавшего князю Колонна. Почти каждый год Франческо Ченчи с семейством проводил несколько месяцев в Рокка Петрелла: князь Колонна, высокородный и блистательный вельможа, частенько испытывал нужду в де-

¹ Сбир в итальянском языке имеет два значения: полицейский и, как в данном случае, наемный убийца.

ных и находил их в кошельке Франческо, а посему был весьма предупредителен к своему другу. Франческо, имевший какие-то причины для недовольства Олимпио, пожаловался на него князю Колонне, и Олимпио прогнали.

И вот к какому пришли решению после неоднократных встреч и обсуждений, в которых участвовали обе женщины, Джакомо, Гуэрра, Марцио и Олимпио, и каждый высказал свое мнение.

Приближалась пора, когда Франческо Ченчи обычно уезжал в Рокка Петрелла; было решено, что Олимпио, прекрасно знающий те места, наберет дюжину разбойников; получив весть, что Франческо выехал, они спрячутся в придорожном лесу, нападут и захватят его вместе со всем семейством. Затем, договорившись о большом выкупе, детей отпустят в Рим собрать деньги, однако те изобразят дело так, будто денег не смогли найти, пропустят установленный разбойниками срок, и Франческо убьют. Таким образом подлинные убийцы уйдут из-под подозрения и избегнут кары.

Однако прекрасно продуманный замысел не удался. Когда Франческо выехал из Рима, посланец заговорщиков не сумел найти разбойников, те, не получив вовремя предупреждения, не смогли исполнить договор и слишком поздно спустились с гор на дорогу. К тому времени Франческо уже проехал и, целый и невредимый, прибыл в Рокка Петрелла. Разбойники, безрезультатно прождав в укрытии, сообразили, что добыча от них ускользнула, и, не желая более оставаться в местности, где пробыли уже почти неделю, сочли за лучшее поискать более верное дело.

Поселившись в крепости, Франческо, дабы беспрепятственно тиранить женщин, отослал в Рим Джакомо вместе с двумя другими еще оставшимися в живых сыновьями. После этого он опять возобновил гнусные посягательства на Беатриче, причем столь настойчиво, что она приняла решение сама совершить то, что прежде хотела исполнить чужими руками.

Олимпио и Марцио, которым нечего было бояться правосудия, продолжали бродить в окрестностях; однажды Беатриче увидела их из окна и дала знак, что хочет им кое-что сообщить. Ночью Олимпио, который некогда был кастеляном крепости и знал все ходы-выходы в ней, проник туда вместе со своим сотоварищем. Беатриче ждала их у окошка, выходящего в один из уединенных дворишков; она передала им письма к монсеньору Гуэрре и Джакомо. Джакомо должен был, как и в первый раз, подтвердить свое согласие на убийство отца, без этого Беатриче не хотела ничего предпринимать. Монсеньор Гуэрра должен был уплатить тысячу пиастров, половину суммы, причитающейся Олимпио, ну а Марцио действовал из любви к Беатриче, перед которой он благоговел, как перед Мадонной; видя это, девушка подарила ему алый плащ, обшитый золотым галуном, и велела носить его, ежели он любит ее. Остаток же суммы женщины намеревались уплатить после смерти старика, когда вступят во владение его состоянием.

Сбиры уехали, и пленницы с тревогой стали ждать их возвращения. В условленный день Олимпио и Марцио вернулись. Монсеньор Гуэрра дал тысячу пиастров, а Джакомо — согласие. Итак, ничто не препят-

ствовало исполнению чудовищного замысла, и уже была назначена дата — восьмое сентября, день Рождества Пресвятой Богородицы, но синьора Лукреция, будучи весьма набожной, обратила внимание на это обстоятельство и не захотела совершать двойной грех, так что все было передвинуто на девятое.

И вот 9 сентября 1598 года женщины, ужиная со стариком, подлили ему в бокал опиума, причем так ловко, что при всей своей подозрительности он ничего не заметил, выпил снотворный напиток и вскоре заснул глубоким сном.

Марцио и Олимпио были в крепости, они прятались в ней всю прошлую ночь и весь день, поскольку, как помнят читатели, убийство было назначено на предыдущий день и тогда же и произошло бы, если бы не религиозная щепетильность синьоры Лукреции Петрони. Около полуночи Беатриче вывела убийц из их укрытия и впустила в спальню отца, собственной рукой распахнув перед ними дверь. Убийцы вошли, а женщины остались ждать в соседней комнате.

Через несколько секунд сбиры вышли бледные и растерянные; не произнося ни слова, они отрицательно покачали головами, и женщины поняли — ничего не сделано.

— В чем дело? — спросила Беатриче. — Что остановило вас?

— То, что убивать спящего старика, — подлость. Мы подумали про его возраст и почувствовали жалость.

Беатриче презрительно вскинула голову и глухим, сдавленным голосом выбрала их:

— Вы, мужчины, притворяющиеся храбрыми и сильными, побоялись убить спящего старика! А что было бы, если бы он проснулся? И за это вы еще берете у нас деньги! Что ж, ваша трусость придала мне силы, и я сама убью своего отца, но помните, вы ненамного переживете его.

После таких слов сбиры устыдились своей слабости и, сделав знак, что исполнят обещанное, вошли в спальню в сопровождении обеих женщин. Лунный свет падал в открытое окошко на безмятежное лицо спящего старика, чьи седины совсем недавно вынудили убийц отступить от задуманного.

Но на сей раз они подавили в себе жалость. Один из них держал два больших гвоздя наподобие тех, какими воспользовались при распятии Христа, а второй — молоток; первый вертикально приставил гвоздь к глазу Франческо, второй ударил по нему молотком, и гвоздь вошел в голову. Еще один гвоздь они вбили в горло, и душа Франческо, отягченная множеством грехов, которые он совершил в жизни, стремительно и неистово вырвалась из тела, конвульсивно дергавшегося на полу, куда оно скатилось.

После этого Беатриче, верная слову, вручила сбирам туго набитый кошелек с остатком условленной платы и отпустила их.

Как только Олимпио и Марцио ушли, женщины вырвали гвозди из ран, завернули труп в простыню и через все комнаты потащили к небольшой терраске, откуда намеревались сбросить его в заброшенный сад. Тем самым они надеялись создать впечатление, будто старик погиб, пойдя среди ночи в нужник, расположенный на другом конце га-



лереи. У дверей последней комнаты силы оставили их, они решили минуту передохнуть, и тут Лукреция увидела обоих сбиров, которые еще не успели уйти и делили деньги. Она позвала их на помощь; Марцио и Олимпии перетащили труп на террасу и с места, указанного Беатриче, сбросили труп в заросли бузины, где он и застрял в ветвях.

Все получилось так, как и предвидели Беатриче и ее мачеха; утром обнаружили труп, застрявший в ветвях бузины, и все решили, что Франческо оступился на террасе (на ней не было парапета) и упал и убился. На теле у него было множество ран, и никто не обратил внимания на те, что оставлены были гвоздями. Женщины, как только им сообщили эту весть, выбежали, издавая горестные вопли и заливаясь слезами, так что если у кого-то и могли возникнуть подозрения, столь неподдельное и глубокое горе тут же должно было их рассеять; но подозрений ни у кого и не появилось, если не считать замковой прачки: Беатриче дала ей постирать простыню, в которую был завернут труп Франческо, сказав, что ночью у нее случилось сильное кровотечение, отчего и запачкалась простыня. Прачка то ли поверила ей, то ли сделала вид, будто поверила; во всяком случае, тогда она ни словом не высказала ни сомнения, ни удивления. Прошли похороны, и женщины без всякой спешки возвратились в Рим, где собирались наконец-то зажить спокойной жизнью.

И пока они жили без страхов, хотя, возможно, и не без угрызений совести, начало свое дело правосудие Божие. Суд Неаполя, узнав о скоропостижной и неожиданной смерти Франческо Ченчи и заподо-

зрив, что она была насильственной, направил в Петрелла королевского комиссара с приказанием произвести эксгумацию тела и отыскать на нем следы убийства, ежели таковое действительно имело место. По прибытии комиссара все обитатели замка были арестованы и в цепях препровождены в Неаполь. Однако никаких улик обнаружено не было, кроме показаний прачки, которая заявила, что Беатриче дала ей постирать простыню, запачканную кровью. Однако это была страшная улика, так как прачка, спрошенная, верит ли она по совести и чистосердечно, что происхождение пятен именно таково, какое ей назвала Беатриче, ответила, что не верит, поскольку для этой причины пятна ей показались слишком яркими и слишком красными.

Показания ее были отосланы в римский суд, но, разумеется, их оказалось недостаточно, чтобы арестовать семейство Ченчи. Прошло несколько месяцев, и никто их не тревожил. За это время умер младший сын Франческо Ченчи. Из пяти братьев в живых оставались только Джакомо, старший, и Бернардо, предпоследний. Несомненно, они могли бы спастись, бежать в Венецию или Флоренцию, но это им даже в голову не приходило, и они продолжали жить в Риме, ожидая развития событий.

Тем временем монсиньор Гуэрра узнал, что люди видели, как Марцио и Олимпио бродили в окрестностях крепости в дни, предшествовавшие убийству Франческо Ченчи, и что неаполитанская полиция получила приказ арестовать их.

Монсиньор Гуэрра был человеком чрезвычайно осторожным, и ежели он оказывался вовремя предупрежден, его трудно было захватить врасплох. Он послал двух сбиров, поручив им убить Марцио и Олимпио. Тот, кому был поручен Олимпио, настиг его в Терни и честно заколол кинжалом, как было велено, но тот, что должен был убить Марцио, к сожалению, прибыл в Неаполь слишком поздно: днем раньше убийца попал в руки правосудия.

Подвергнутый пытке, Марцио во всем признался.

Его показания также были отосланы в Рим, куда вскорости был препровожден и он сам — для очной ставки с теми, кого он обвинял. Одновременно был отдан приказ об аресте Джакомо, Бернардо, Беатриче и Лукреции; поначалу местом заключения им был назначен дворец отца, где их стерегла сильная полицейская стража. Но улики становились все более и более тяжкими, и их перевели в замок Корте Савелла; там были проведены очные ставки с Марцио, однако они решительно отрицали не только свою причастность к преступлению, но даже знакомство с убийцей; замечательное самообладание выказала Беатриче: она попросила, чтобы ей первой устроили ставку с Марцио и спокойно, с достоинством заявила, что доносчик лжет, и тогда молодой человек, видя, как она прекрасна, принял решение, уж коль он не может посвятить себя служению ей, хотя бы спасти ее ценою своей жизни. Он объявил, что все его показания были ложью и что он просит за это прощения у Бога и у Беатриче; ни угрозы, ни пытки с той поры не смогли вырвать у него других показаний; Марцио умер в му-



ках, но продолжал молчать. Ченчи уже были уверены, что им удалось спастись.

Однако Господь своей благой волей решил иначе. Примерно в это же время был за какое-то преступление арестован сбир, убивший Олимпио. Поскольку у него не было причин одни преступления скрывать, а другие нет, он признался, что был нанят монсиньором Гуэррой избавить его от кое-каких неприятностей, которые мог причинить наемателю некий убийца по имени Олимпио.

К счастью, монсиньор Гуэрра вовремя узнал об этом, а так как был он человеком весьма умным и ловким, то не стал предаваться страхам и впадать в отчаяние, как это сделал бы на его месте кто другой; как раз

в то время, когда ему передали это сообщение, у него находился угольщик, снабжавший его дом углем; Гуэрра пригласил угольщика к себе в кабинет и первым делом вручил крупную сумму как плату за молчание, затем приобрел — на вес золота — старые, грязные отрепья, в которые был одет угольщик, обрезал свои чудесные волосы, за которыми так следил, перекрасил бороду, измазал лицо сажей, купил двух ослов, нагрузил их корзинами с углем и, изображая хромоту, пошел по римским улицам, крича: «Угля! Кому угля!» И покуда стража, сбившись с ног, искала его, он выбрался из города, встретил отряд наемных солдат, присоединился к ним и добрался до Неаполя, где сел на корабль. Что стало с ним дальше, неизвестно. Правда, некоторые говорят, но без всякой уверенности, будто он добрался до Франции и вступил там в швейцарский полк, состоявший на службе у Генриха IV.

Признания сбيرا и исчезновение монсиньора Гуэрры не оставили больше никаких сомнений в виновности Ченчи. Вследствие этого они были переведены из замка в тюрьму; оба брата, подвергнутые пытке, не нашли в себе сил молчать и признали себя виновными. Лукреция Петрони была настолько тучной, что не смогла вынести допроса на виске: чуть только ее оторвали от земли, как она взмолилась, чтобы ее отпустили, и рассказала все, что знала.

Что же касается Беатриче, она проявила исключительную твердость: ни обещания, ни угрозы, ни допрос с пристрастием ничего не смогли поделаться с этим крепким и живучим организмом, она с потрясающим мужеством все отрицала, и судья Улиссе Москати, человек весьма опытный в подобных делах, не сумел вырвать у нее ни единого слова, кроме тех, что она хотела сказать. Не решаясь брать на себя ответственность в столь чудовищном деле, он доложил обо всем Клименту VIII, и папа, опасаясь, как бы Москати, соблазненный красотой обвиняемой, которую ему приходится допрашивать, не проявил слабости в применении пыток, отстранил его и передал дело другому следователю, известному своей непреклонной твердостью.

Новый судья возобновил всю процедуру, касающуюся Беатриче, проверил все предшествовавшие допросы и, обнаружив, что она подвергалась только обычному допросу с пристрастием, распорядился применить к ней и обычную, и чрезвычайную пытки, каковой, как мы уже упоминали, была пытка на виске, самая ужасная из всех, какие только придумал человек, становящийся весьма изобретательным, когда дело касается мучений.

Но поскольку выражение «допрос на виске» не дает читателю достаточно ясного представления о самой пытке, мы войдем в некоторые подробности на этот счет, а затем приведем протоколы отдельных эпизодов процесса, хранящиеся в Ватикане.

В Риме в ходу были самые разные пытки, но чаще всего применялись пытки свистульками, пытка огнем, пытка бессонницей и пытка на виске.

Пытка свистульками, самая мягкая из всех, применялась только к детям и старикам; состояла она в том, что под ногти допрашиваемому загоняли тростинки, срезанные наискось, как концы свистулек.

Пытка огнем была самой распространенной, пока не придумали пытку бессонницей, и заключалась в том, что ноги преступника держали над большим огнем, примерно так, как это делали наши «поджариватели»¹.

При пытке бессонницей, изобретателем которой был некий Марсилиус, обвиняемого усаживали на остроугольную «кобылу» высотой пять футов, руки его привязывали за спиной к «кобыле»; по бокам у него садились два человека, сменявшиеся каждые пять часов, которые расталкивали его, стоило ему закрыть глаза. Марсилиус утверждал, что не видел ни одного человека, который сумел бы устоять перед этой пыткой, но он несколько прихвастнул. Хронисты констатируют, что из ста обвиняемых, подвергнутых пытке бессонницей, не признались лишь пятеро. Но и такой результат весьма лестен для изобретателя.

И наконец, пытка на виске, употреблявшаяся чаще других и известная во Франции под названием «дыба».

У этой пытки было три степени: легкая, тяжелая и весьма тяжелая.

Первая степень, или легкая пытка, состояла в самом страхе перед пыткой: обвиняемому грозили, что его станут пытать, приводили в застенок, раздевали, связывали веревкой руки, как если бы намеревались приступить к пытке. Помимо страха, вызванного этими приготовлениями, производила действие и незначительная боль в связанных запястьях. Иногда оказывалось достаточно первой степени, чтобы заставить женщин и слабодушных мужчин признаться в свершении преступления.

Вторая степень, или тяжелая пытка, заключалась в следующем: раздетому донага обвиняемому связывали руки за спиной, а веревку продевали во вбитое в потолок кольцо и привязывали к вороту, с помощью которого пытаемого можно было поднимать и опускать, причем делалось это медленно или рывком — как распорядится судья. Подняв, его оставляли висеть, чтобы он не касался ногами пола, на время, за которое можно прочесть «Pater noster», «Ave Maria» или «Miserere»². Ежели он и после этого не признавался, его подвешивали снова. Этой пыткой второй степени завершался обычный допрос, который производился в тех случаях, когда преступление было возможно, но не доказано.

Пытка третьей степени, или весьма тяжелая, которой начинался чрезвычайный допрос, проходила так: после того как допрашиваемый провисел четверть часа, полчаса, три четверти часа или даже целый час, палач начинал его то ли раскачивать наподобие колокола, то ли отпускал вниз и вдруг резко останавливал на некотором расстоянии от пола; если обвиняемый выдерживал и не признавался, что было делом неслыханным, так как вследствие этой пытки у него оказывались вывернутыми суставы, да и веревка, стягивающая запястья, врзалась до кости, к ногам ему привязывали груз, что, увеличивая его вес, усили-

¹ Разбойники времен Французской революции; они жгли своим жертвам ноги на огне.

² Названия католических молитв, которым соответствуют православные «Отче наш», «Богородица Дево, радуйся» и «Помилуй мя, Боже».

вало и мучения. Последняя пытка применялась в тех случаях, когда преступление было не только доказано, но и направлено против особ священных, как то папа, кардинал, монах или ученый.

Читателю уже известно, что Беатриче была подвергнута обычному и чрезвычайному допросу, известно, и в чем они состояли, а теперь дадим слово писцу, ведущему пыточные записи.

«Понеже в течение всего допроса она не желала ни в чем признаться, двум стражникам было велено препроводить ее из тюрьмы в пыточную камеру, в каковой ее ждал палач; там, после того как ей обрили волосы, палач усадил ее на низкую скамью, раздел, разул, связал руки за спиной, привязал к веревке, проходящей через блок, закрепленный в потолке оной камеры, а вторым концом привязанной к вороту, каковой вращается посредством четырех рукоятей двумя мужчинами.

И прежде чем подтянуть, мы вновь спросили ее на предмет вышеупомянутого отцеубийства, однако вопреки представленным ей признаниям брата и мачехи, каковые признания те подписали, она упорно все отрицала, говоря: «Подвесьте меня и делайте со мной все, что желаете, я вам сказала правду и ничего иного не скажу, даже если меня разрубят на части».

Вследствие чего мы приказали подтянуть ее за руки, связанные вышеупомянутой веревкой, на высоту около двух футов и оставили так на время, пока читали «Pater noster», после чего опять же спросили относительно событий и обстоятельств названного отцеубийства, но она не пожелала сказать ничего, кроме того, что уже сказала, не произнося иных слов, кроме нижеследующих: «Вы убиваете меня! Вы убиваете меня!»

Мы распорядились подтянуть ее выше, а именно до высоты четырех футов, и начали читать «Ave Maria». Но посередине нашей молитвы она прикинулась, будто потеряла сознание.

Мы велели плеснуть ей в лицо ведро воды, после чего она пришла в себя и закричала: «Боже мой! Смерть моя пришла! Вы убиваете меня! Боже мой!» — ничего же иного ответить не захотела.

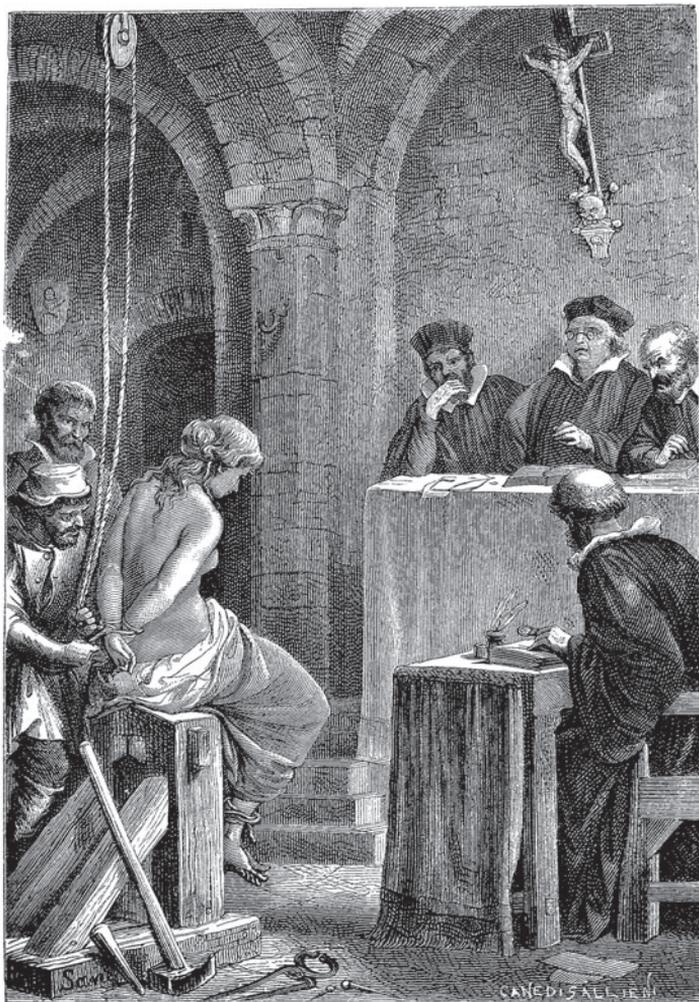
Тогда мы приказали поднять ее еще выше и стали читать «Miserere», она же, вместо того чтобы присоединиться к нашей молитве, дергалась и вскрикивала, произнося неоднократно: «Боже мой! Боже мой!»

Спрошенная вновь относительно названного отцеубийства, не пожелала ничего признать, утверждая, что невиновна, а через несколько секунд потеряла сознание.

Мы приказали снова облить ее водой, после чего она пришла в себя, открыла глаза и вскричала: «Проклятые палачи, вы убиваете меня! Убиваете меня!» — и опять же не пожелала сказать ничего иного.

Видя таковое ее упорство в отрицании вины, мы приказали палачу произвести встряску.

Палач подтянул ее на высоту десять футов, и мы попросили ее, подвешенную на таковой высоте, сказать нам правду, но то ли оттого, что она лишилась дара речи, то ли оттого, что не желала говорить, она в ответ покачала головой, что означало либо невозможность, либо нежелание отвечать.



Видя то, мы дали палачу знак отпустить веревку, и она всем своим весом упала с высоты десяти футов до высоты двух футов, от какого сотрясения у нее вывернулись руки; она громко возопила и сомлела, оставшись висеть как мертвая.

Мы приказали плеснуть ей в лицо воды, она пришла в себя и снова крикнула: «Гнусные мучители, вы убиваете меня, но даже если вырвете мне руки, я ничего другого вам не скажу!»

Вследствие этого мы приказали привязать ей к ногам груз в пятьдесят фунтов. Однако в этот момент растворилась дверь, и несколько голосов закричали: «Довольно! Довольно! Не заставляйте ее так долго мучиться...»

МАРКИЗА ДЕ БРЕНВИЛЪЕ

В один из прекрасных осенних вечеров 1665 г. на той части Нового моста, что спускается к улице Дофины, собралось довольно много народу. Причиной этого скопления и предметом, привлечшим всеобщее внимание, была наглухо закрытая карета, дверцу которой пытался открыть полицейский офицер, меж тем как из четырех сопровождавших его подчиненных двое удерживали лошадей, а еще двое держали кучера, который, невзирая на приказ, порывался погнать упряжку в галоп. Борьба уже длилась некоторое время, как вдруг дверца резко распахнулась и из нее выпрыгнул молодой офицер в мундире капитана кавалерии; он поспешил тотчас же захлопнуть дверцу, но сделал это не настолько быстро, чтобы те, кто стоял близко к ней, не заметили внутри кареты даму в плаще и под вуалью; по той поспешности, с какой она постаралась закрыть лицо, становилось ясно, что она хочет остаться неузнанной.

— Сударь, — высокомерно и повелительно обратился молодой человек к полицейскому офицеру, — как я предполагаю, если только не ошибаюсь, у вас есть дело ко мне; поэтому я попрошу вас дать объяснения, на каком основании вы остановили карету, в которой я ехал. А сейчас, поскольку я из нее вышел, я требую, чтобы вы приказали вашим людям дать ей возможность продолжать путь.

— Прежде, — отвечал полицейский, ничуть не оробев от вельможного тона и знаком велев подчиненным не отпускать ни кучера, ни лошадей, — соблаговолите ответить на мои вопросы.

— Слушаю вас, — бросил молодой человек, хотя было заметно, что он с трудом заставлял себя сохранять спокойствие.

— Вы — шевалье Годен де Сент-Круа?

— Он самый.

— Капитан полка де Траси?

— Да, сударь.

— В таком случае именем короля вы арестованы.

— На каком основании?

— На основании вот этого указа об аресте.

Шевалье бросил взгляд на представленную ему бумагу и, сразу же узнав подпись министра полиции, казалось, был озабочен только лишь дамой, оставшейся в карете; во всяком случае, так можно было судить по просьбе, которую он повторил.

— Это прекрасно, сударь, но в именном указе обозначена только моя фамилия, и он, обращая ваше внимание, не дает вам права выставлять на публичное позорище особу, с которой я был, когда вы меня арестовали. Так что прошу вас, прикажите полицейским дать возможность карете ехать дальше, после чего можете вести меня куда угодно, я готов следовать за вами.

Просяба эта, по всей видимости, показалась полицейскому офицеру справедливой, и он дал своим людям знак отпустить лошадей и кучера, который, похоже, только и ждал того; он врезался в расступившуюся перед ним толпу и умчал даму, о которой арестованный проявлял такую заботу.

Сент-Круа, как и обещал, не оказал сопротивления; окруженный толпой, которую любопытство словно притягивало к нему, он шел следом за провожатым; на углу набережной Орлож стражник подогнал им навстречу карету, до поры укрытую на площади; шевалье уселся в нее с тем же высокомерным и презрительным видом, какой он сохранял все время, пока длилась описываемая нами сцена. Полицейский офицер сел рядом с ним, двое полицейских встали на запятки, а двое других, очевидно, во исполнение приказа, полученного от начальника, остались, бросив напоследок кучеру: «В Бастилию!»

А теперь пусть читатели позволят нам сообщить более подробные сведения о действующем лице этой истории, которого мы вывели на сцену.

О происхождении шевалье Годен де Сент-Круа в точности ничего не известно; одни говорили, что он будто бы незаконный сын некоего знатного вельможи, другие, напротив, утверждали, что родители его были бедны и он, не в силах вынести ничтожности, в какой был рожден, предпочел позолоченное бесчестье, выдавая себя за того, кем не являлся. Достоверно на сей счет известно единственно, что родился он в Монтобане; что же касается его тогдашнего положения в свете, то он был капитаном в полку де Траси.

К тому времени, когда начинается наш рассказ, то есть в конце 1665 г., Сент-Круа выглядел лет на двадцать восемь—тридцать; то был красивый молодой человек с приятным, смышленным лицом, веселый собутыльник и храбрый офицер; он получал удовольствие, доставляя радость другим, и, обладая легким характером, с одинаковым воодушевлением мог принять участие и в каком-нибудь благом предприятии, и в кутеже; весьма влюбчивый, мог свирепо ревновать даже куртизанку, если она ему нравилась, отличался княжеской расточительностью, не имея, правда, никаких доходов, и, наконец, был чрезвычайно чувствителен к оскорблениям, как всякий, кто находится в особом положении и потому постоянно подозревает, что все упорно намекают на его происхождение с намерением уязвить.

А теперь поведаем, вследствие стечения каких обстоятельств он оказался в ситуации, в которой мы его застали.

В 1660 году Сент-Круа, находясь в действующей армии, познакомился с маркизом де Бренвилье, полковником Нормандского полка. Возраст, а они были почти ровесники, общность жизненного поприща

и карьеры, схожие достоинства и недостатки вскоре привели к тому, что простое знакомство переросло в искреннюю дружбу, так что по возвращении из похода маркиз де Бренвилье представил Сент-Круа жене и поселил у себя в доме.

Такая тесная дружба не замедлила принести обычные результаты. Маркизе де Бренвилье в ту пору только-только исполнилось двадцать восемь лет; в 1651 г., то есть девятью годами раньше, она вышла за маркиза де Бренвилье, имевшего тридцать тысяч ливров ренты, принеся в приданое двести тысяч, не считая надежды на часть будущего наследства. Звали ее Мари Мадлен, у нее были два брата и сестра, а ее отец, г-н де Дрё д'Обре, состоял заместителем судьи в парижском Шатле¹.

В возрасте двадцати восьми лет маркиза де Бренвилье была в расцвете красоты; при невысоком росте она отличалась прекрасной фигурой; у нее было поразительно миловидное округлое лицо, а правильные черты казались тем правильной, что их никогда не искажали никакие внутренние волнения; при взгляде на нее казалось, что это лицо статуи, которое силой волшебства вот-вот обретет жизнь, и очень многим случалось принимать за отсвет безмятежности, присущей чистой душе, то холодное и жестокое безразличие, что является всего лишь маской, скрывающей уязвленность.

Сент-Круа и маркиза с первого взгляда понравились друг другу и вскоре стали любовниками. Что же до маркиза, он то ли был приверженцем распространенной в ту пору философии супружеской жизни, которая считалась необходимым признаком хорошего тона, то ли удовольствия, захватившие его, не оставляли ему досуга обратить внимание на происходящее у него под носом, но в любом случае он не чинил своей ревностью никаких препятствий близости жены и друга и продолжал бешено сорить деньгами, чем уже нанес изрядный урон своему состоянию; вскоре дела его настолько запутались, что маркиза, разлюбившая его и всецело захваченная новой страстью, пожелала еще большей свободы; она потребовала и добилась раздела имущества и раздельного проживания. Покинув супружеский дом, она окончательно утратила чувство меры и всюду публично показывалась с Сент-Круа.

Их отношения, бывшие, впрочем, как бы позволительными, поскольку они подкреплялись примером многих высокородных особ, не произвели никакого впечатления на маркиза де Бренвилье, который продолжал весело разоряться, ничуть не интересуясь тем, что делает его жена. Совсем по-другому воспринимал это г-н де Дрё д'Обре, еще сохранивший щепетильность, присущую дворянству мантии²; возмущенный распутством дочери и опасаясь, как бы своим поведением она не запятнала и его репутацию, он добился именного указа, предписывавшего подвергнуть Сент-Круа аресту в любом месте, где бы предъявитель оного указа ни встретил его. Мы уже видели, как указ был выполнен в тот момент, когда Сент-Круа ехал в карете с маркизой де

¹ Дворец правосудия и тюрьма в старом Париже.

² Так во Франции называли представителей судейского сословия, возведенных в дворянское достоинство.

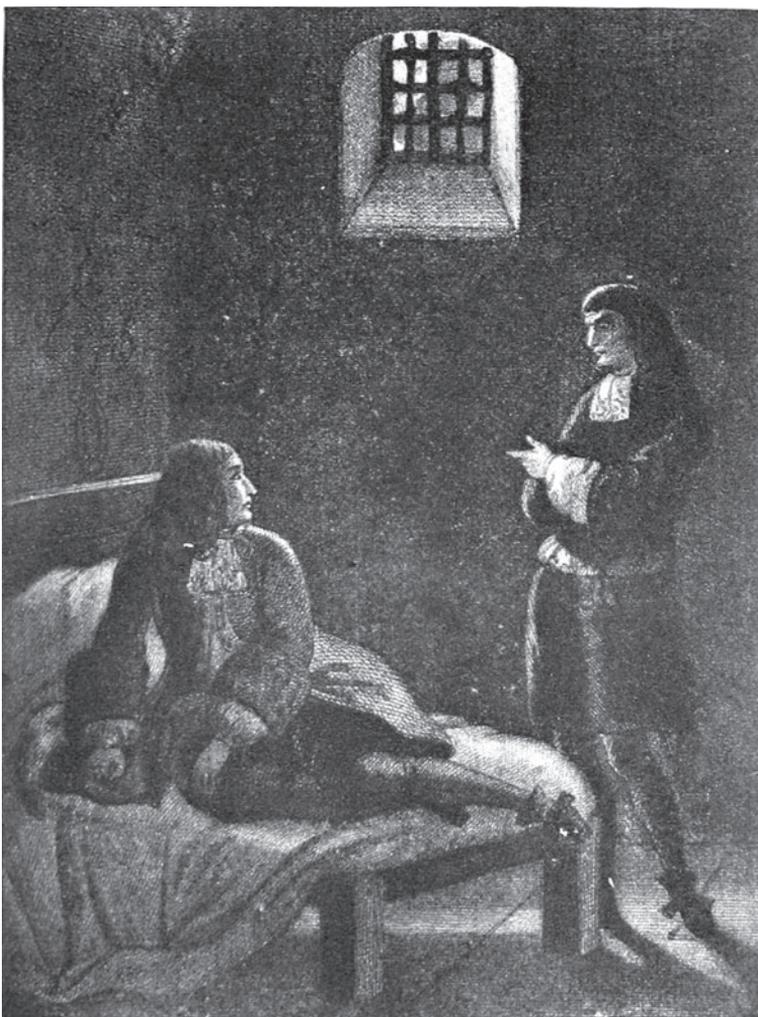
Бренвиллье, которую наши читатели уже узнали в даме, так старательно прятавшей лицо.

Зная характер Сент-Круа, легко представить, как пришлось ему обзывать себя, чтобы не взорваться гневом, когда его так внезапно арестовали; и хотя, пока его везли в тюрьму, он не промолвил ни слова, было заметно, что в душе у него собирается чудовищный ураган, который не замедлит разразиться. Тем не менее он сохранял все ту же бесстрастность, что и прежде, не только в тот момент, когда увидел, как перед ним растворяются, а потом следом захлопываются страшные ворота, которые, подобно вратам ада, нередко внушали тем, кто в них вступал, оставить всякую надежду за порогом, но и когда отвечал на положенные по уставу вопросы, задаваемые комендантом. Голос у него остался ровным, и рука не дрогнула, когда ему предложили расписаться в тюремном регистре. Тотчас же тюремщик, уже получивший распоряжения от коменданта, велел Сент-Круа следовать за ним и, проведя его по извилистым холодным и сырým коридорам, куда иногда проникает дневной свет, но никогда — свежий воздух, открыл перед ним дверь камеры; едва войдя в нее, Сент-Круа услышал, как дверь со скрипом затворилась.

Сент-Круа обернулся на скрежет запоров; тюремщик не оставил ему светильника, и лишь лунный свет, проникая сквозь зарешеченное окошко, находившееся на высоте футов восьми, а то и десяти, падал на обогую койку, оставляя всю камеру во мраке. Несколько секунд узник стоял, прислушиваясь, и когда шаги тюремщика стали затихать вдали, он, уверившись, что наконец-то остался один, доведенный до той стадии ярости, когда, кажется, сердце вот-вот разорвется, рухнул на койку с рычанием, какое способен издать разве что дикий зверь, а не человек, и принялся клясть людей, которые схватили его, лишили радостей жизни и бросили в каземат, клясть Бога, позволившего им это сделать, и зывая к любой силе, кем бы она ни была, помочь ему отомстить и выйти на свободу.

В тот же миг, словно слова узника дошли до подземных бездн, в круг синеватого света, падающего из окна, медленно вступил бледный человек с длинными волосами, одетый в черную облегающую куртку, и приблизился к изножию кровати, на которой лежал Сент-Круа. В ту эпоху еще верили в тайны заклятий и магию, а появление незнакомца до такой степени совпадало с призывами узника, что при всей своей храбрости он ни на секунду не усомнился, что враг рода человеческого, который неизменно кружит вокруг людей, услышал его и явился на зов. Сент-Круа привстал с кровати, машинально ища эфес шпаги там, где он был еще два часа назад, и чувствуя, как по мере приближения этого таинственного и фантастического существа у него начинают шевелиться волосы на голове, а весь лоб покрывается каплями холодного пота, которые потихоньку сползают на щеки. Наконец видение остановилось, и они с узником молча вперились друг в друга глазами. Таинственный незнакомец первым прервал молчание и глухим голосом произнес:

— Молодой человек, ты просил у ада средства, чтобы отомстить людям, которые бросили тебя в темницу, и вступить в борьбу с Богом, покинувшим тебя. У меня есть такое средство, и я пришел предложить его тебе. Хватит ли у тебя отваги принять его?



— Но сперва скажи, кто ты, — потребовал Сент-Круа.

— Какая тебе нужда знать, кто я, коль я пришел на твой зов и принес тебе то, что ты просил? — отозвался незнакомец.

— Есть, и большая, — заметил Сент-Круа, все еще пребывавший в уверенности, что перед ним сверхъестественное существо. — Когда заключаешь договор такого рода, неплохо знать, с кем договариваешься.

— Ну что ж, раз тебе так хочется, я отвечу, — согласился незнакомец. — Я — итальянец Экзили.

И снова дрожь пробежала по телу Сент-Круа, так как вместо адского видения перед ним оказалось чудовище в человеческом облике. И действительно, эта фамилия была широко известна не только во Фран-

ции, но и по всей Италии. Изгнанный из Рима по подозрению в многочисленных отравлениях, хотя доказательств его вины представлено не было, Эскили переехал в Париж, где вскорости, как и у себя на родине, привлек внимание властей, но и в Париже тоже не смогли изобличить этого последователя Рене и Тофаны¹. Однако несмотря на отсутствие доказательств, убежденность в его вине была настолько велика, что без всяких колебаний было приказано взять его под стражу. Был выдан именной указ, Эскили арестовали и препроводили в Бастилию. Он там находился уже шестой месяц, когда такая же судьба постигла Сент-Круа. Поскольку в ту пору тюрьмы были переполнены, комендант поместил нового узника в камеру, где уже находился Эскили, не подумав, что соединяет двух демонов. Об остальном читатель может догадаться сам. Тюремщик привел Сент-Круа в темную камеру, не оставив ему свечильника, так что тот не обнаружил, что в ней есть кто-то еще; дав выход отчаянию, проклиная все и вся, Сент-Круа обнаружил перед Эскили свою злобу, и итальянец воспользовался возможностью обрести преданного и могущественного ученика, который, выйдя на волю, откроет двери тюрьмы и для него, а уж если ему суждено вечно оставаться в заключении, то хотя бы отомстит.

Отвращение Сент-Круа к соседу по камере было недолгим, и многознающий учитель получил достойного ученика. Сент-Круа с его прихотливым характером, равно склонным и к добру и к злу, характером, представляющим соединение достоинств и недостатков, смешение пороков и добродетелей, попал к итальянцу в тот решающий период его жизни, когда одни свойства природы должны возобладать над другими. Если бы в том состоянии, в каком он пребывал, ему повстречался ангел, он, возможно, обратился бы к Богу; но ему попался демон, и демон увлек его к сатане.

Эскили не был заурядным отравителем — по части ядов он был художником, подобно Медичи и Борджа. Убийство он рассматривал как искусство и установил для него точные, определенные правила; случилось, он совершал отравление не ради корысти, а следуя неодолимой страсти к экспериментаторству. Господь сохранил в своей божественной власти способность творить, а человека наделил способностью разрушать, и в результате человек, разрушая, счел себя равным Богу. Это-то и питало гордыню Эскили, бледного, угрюмого алхимика небытия, который, предоставив другим искать тайну жизни, нашел тайну смерти.

Сент-Круа некоторое время испытывал колебания, но в конце концов сдался, слушая насмешки соседа по камере, который упрекал французов за то, что они прямодушны даже в преступлениях: французы почти всегда вершат месть открыто, не таясь, и гибнут вслед за своим врагом, хотя могли бы пережить его и торжествовать после его смерти. Подобному убийству с оглаской, которое зачастую навлекает

¹ Имеется в виду флорентинец Рене, врач матери французских королей Франциска II, Карла и Генриха III Екатерины Медичи, который готовил для нее яды, и знаменитая итальянская отравительница Тофана.

на убийцу смерть куда более страшную, чем та, какой умер его враг, Эскили противопоставил флорентийское коварство, с улыбкой подающее смертельный яд. Он перечислил Сент-Круа порошки и жидкости, одни из которых действуют тайно и медленно изнуряют жертву, так что она умирает после долгих страданий, а другие столь сильны и мгновенны, что убивают подобно молнии, не оставляя принявшему их времени даже вскрикнуть. Мало-помалу Сент-Круа приобрел интерес к этому чудовищному искусству, отдающему жизнь множества людей в руки одного. Он начал с того, что перенял опыт Эскили, но затем стал достаточно искусен, чтобы действовать самостоятельно, так что через год, выйдя из тюрьмы, ученик почти сравнялся с учителем.

Сент-Круа вернулся в общество, откуда был временно удален, но уже усиленный смертоносной тайной, с помощью которой мог отомстить за причиненное ему зло. Вскоре, неизвестно по чьему настоянию, был выпущен из тюрьмы и Эскили; он разыскал Сент-Круа, и тот от имени своего управляющего Мартена де Брейя снял для него комнату в тупике Барышников у площади Мобер, принадлежавшую г-же Брюне.

Неизвестно, была ли у маркизы де Бренвилье возможность видеться с Сент-Круа, пока он пребывал в тюрьме, но совершенно точно удостоверено, что после его освобождения связь любовников стала еще более пылкой. Однако теперь они уже на опыте знали, чего следует опасаться, и потому решили как можно скорей использовать знания, полученные Сент-Круа; в качестве первой жертвы маркиза избрала своего отца г-на д'Обре. Мало того, что таким путем она избавилась бы от строгого ревнителя нравов, весьма мешавшего ей наслаждаться радостями жизни, но заодно и несколько поправила бы, получив наследство, свое состояние, которое почти промотал ее супруг.

Однако прежде чем нанести подобный удар, следует убедиться, что он окажется окончательным, и потому маркиза решила на ком-нибудь проверить полученный от Сент-Круа яд. И вот в один прекрасный день к ней после завтрака вошла ее горничная, некая Франсуаза Руссель, и маркиза дала ей смородинового варенья и ломоть ветчины, чтобы служанка тоже позавтракала. Ничего не подозревающая девушка съела все, чем ее угостила хозяйка, и почти тотчас же ощутила недомогание, «испытывая сильную боль в желудке и чувствуя себя так, словно в сердце вонзились острые иглы»¹. Но она все-таки выжила, и маркиза поняла, что нужна более сильная отравка; она обратилась к Сент-Круа, и через несколько дней тот принес ей другой яд.

И вот подошло время использовать его. Г-н д'Обре, утомившись от трудов в суде, намеревался провести вакации в своем замке Офмон. Маркиза де Бренвилье вызвалась сопровождать его, и г-н д'Обре, полагавший, что она совершенно порвала отношения с Сент-Круа, с радостью согласился.

Офмон был местом, как нельзя лучше приспособленным для исполнения задуманного преступления. Он был расположен среди Эгского леса лье в четырех от Компьеня, так что, когда придет помощь,

¹ Показания девицы Руссель (примеч. автора).

яд произведет уже достаточно сильное действие, чтобы она оказалась безuspешной.

Г-н д'Обре отправился на отдых с дочерью и одним-единственным слугой. Никогда маркиза не была так заботлива с отцом, никогда не окружала столь настойчивым вниманием, как во время этой поездки. Со своей стороны, г-н д'Обре, подобно Христу, который хоть и не имел детей, но обладал отеческим сердцем, предпочитал раскаяние безгрешности.

Вот тут-то маркиза и призвала на помощь ту чудовищную непроницаемость, о которой мы уже упоминали, когда описывали ее лицо; она все время находилась рядом с г-ном д'Обре, спала в соседней комнате, была безмерно заботлива, ласкова, предупредительна вплоть до того, что даже не допускала никого прислуживать ему, и все это время, пока она лежала свои зловещие планы, ей приходилось улыбаться, изображать на лице доброжелательность, чтобы самый недоверчивый взор не смог прочесть на нем ничего, кроме нежности и почтительной любви. Именно такая маска была у нее на лице в тот вечер, когда она подала отцу отравленный бульон. Г-н д'Обре взял чашку у нее из рук, маркиза видела, как отец подносит посуду к губам, следила за ним взглядом, но на ее лице бронзовой статуи не дрогнула ни одна черточка, не выдав, какая жестокая тревога сжимает ей сердце. Когда г-н д'Обре выпил бульон, она недогнувшей рукой протянула поднос, приняла поставленную чашку, удалилась к себе в комнату и сидела там, выжидая и прислушиваясь.

Бульон подействовал очень скоро: маркиза услышала, как отец несколько раз застонал, затем стоны стали непрерывными. Наконец, не в силах терпеть боль, он громко позвал дочь. Маркиза вошла к нему в комнату.

Но на сей раз на ее лице было выражение самого неподдельного беспокойства, и г-ну д'Обре пришлось убеждать ее, что ничего страшного не случилось; он считал, что у него небольшое недомогание, и даже не велел беспокоить врача. Но вскоре у него началась такая чудовищная рвота, а затем пошли до того невыносимые желудочные боли, что он сдался перед настояниями дочери и приказал послать за помощью. Врач прибыл к восьми утра, но все, что могло бы помочь науке в исследованиях, уже исчезло; по рассказу г-на д'Обре доктор определил всего лишь симптомы обычного несварения желудка, назначил соответственное лечение и возвратился в Компьень.

Весь этот день маркиза не покидала больного. Когда подошла ночь, она велела постелить себе в отцовской спальне и объявила, что сама будет следить за ним, так что у нее была прекрасная возможность изучить развитие болезни и наблюдать, как в организме ее отца борются жизнь и смерть.

На следующий день доктор приехал опять; г-ну д'Обре стало хуже, правда, рвота прекратилась, но боль в желудке стала острее, а кроме того, какой-то непонятный жар сжигал ему внутренности; врач прописал лечение, которое требовало перевезти больного в Париж. Однако г-н д'Обре был настолько слаб, что засомневался, стоит ли везти его



туда, — не лучше ли в Компьень, но маркиза так настаивала на необходимости самого тщательного и умелого ухода, какой можно обеспечить только дома, что г-н д'Обре решил возвращаться.

Весь путь он проделал, положив голову на плечо дочери, и она ни на единый миг не выдала себя, оставаясь в продолжение всего переезда заботливой. Наконец они прибыли в Париж. Все прошло так, как хотела маркиза: место действия сменилось, врач, наблюдавший симптомы, агонии не увидит; никто, наблюдая развитие болезни, не сумеет обнаружить ее причину, короче, нить исследования разорвана посередине, и обе ее части находятся слишком далеко друг от друга, чтобы появилась возможность их связать.

Несмотря на самый заботливый уход, состояние г-на д'Обре продолжало ухудшаться; маркиза, верная взятым на себя обязанностям, не оставляла его ни на час, и вот после четырехдневной агонии г-н д'Обре скончался на руках дочери, благословляя свою отравительницу.

Горе маркизы было таким безудержным, она так рыдала, что братья выглядели рядом с ней бесчувственными истуканами. Впрочем, поскольку ни у кого не возникло даже мысли, что совершено преступление, вскрытие проводить не стали, могила была закрыта, и даже тени подозрения не витало над ней.

Тем не менее цель, поставленная маркизой, была достигнута лишь наполовину: разумеется, она получила куда больше свободы для любовных развлечений, но вот отцовское наследство оказалось не столь значительным, как она надеялась; большая часть состояния вместе с

должностью досталась братьям, старшему и второму, который был советником парламента, так что в денежном смысле положение маркизы улучшилось крайне незначительно.

Что же до Сент-Круа, он жил весело и на широкую ногу, хотя никто не знал источников его доходов, держал управляющего, которого звали Мартен, трех лакеев — Жоржа, Лапьера и Лашоссе — и кроме кареты и экипажей имел еще и носильщиков для ночных вылазок. Впрочем, поскольку он был молод и хорош собой, никого особо не удивляло, откуда он берет деньги. В ту эпоху было обычным делом, что хорошо сложенные кавалеры ни в чем не нуждались, и про Сент-Круа говорили, будто он нашел философский камень.

У него были весьма обширные светские связи, он водил дружбу с множеством людей как среди дворянства, так и среди финансистов; к последним принадлежал некий Реш де Пенотье, главный сборщик податей духовенства и казначей штатов провинции Лангедок; состояние его исчислялось в миллионах, он был из тех, кому все дается и кто благодаря богатству словно определяет ход событий, как бы соперничая в этом с Богом.

Компаньоном в некоторых делах у Пенотье был его старший приказчик, некто Алибер. И вот этот Алибер внезапно умирает от апоплексического удара, о чем Пенотье становится известно раньше, чем семье покойного; в результате документы о компаньонстве непонятным образом исчезают, а жена и дети Алибера оказываются разорены.

У зятя Алибера де ла Магделен возникают какие-то туманные подозрения насчет этой смерти, он намеревается обосновать их и начинает расследование, однако в процессе его скоропостижно умирает.

И только в одном удача, казалось, отвернулась от своего любимца; мэтр Пенотье безумно хотел унаследовать должность г-на де Менвиллета, сборщика податей духовенства; должность эта стоила по меньшей мере шестьдесят тысяч ливров, и Пенотье, зная, что г-н де Менвиллет хочет отказаться от нее в пользу своего старшего приказчика мессира Пьера Аннивеля де Сен-Лорана, предпринял все необходимые шаги, чтобы перекупить ее в ущерб последнему, однако де Сен-Лоран, получив сильную поддержку духовенства, даром — чего никогда не случилось, — получил право на преемственное занятие этой должности. Тогда Пенотье предложил ему сорок тысяч экю за совместное отправление этой должности, но Сен-Лоран отказался. Тем не менее отношения их не были прерваны, они продолжали видеться. Впрочем, Пенотье был известен как человек удачливый, и никто не сомневался, что рано или поздно он тем или иным способом получит желанную должность.

Те же, кто не верил в таинства алхимии, поговаривали, будто Сент-Круа делает дела с Пенотье.

Тем временем срок траура кончился, отношения Сент-Круа с маркизой вновь обрели былую публичность, братья д'Обре передали ей на этот счет замечание — через младшую сестру, которая была в монастыре у кармелиток, и так маркиза узнала, что, умирая, г-н д'Обре поручил сыновьям следить за ее поведением.

Таким образом получалось, что первое преступление маркизы не дало ей практически никакой выгоды; она хотела избавиться от упре-

ков отца и унаследовать его состояние, но ей досталась от него только малая доля, поскольку большая часть перешла к старшим братьям, и этой доли едва хватило, чтобы заплатить долги, а вдобавок теперь приходилось выслушивать те же упреки из уст братьев, один из которых благодаря должности заместителя судьи может вторично разлучить ее с любовником.

Следовало предупредить такой оборот дел. Лашоссе оставил службу у Сент-Круа и через три месяца с помощью маркизы был принят слугой к советнику парламента, проживавшему вместе со своим братом, заместителем судьи.

Разумней было на сей раз применить яд, который не столь быстро оказывает смертоносное действие, как тот, что был употреблен для убийства г-на д'Обре-отца, поскольку еще одна скорострельная смерть в одном семействе могла бы возбудить подозрения. Начались опыты, но не на животных, поскольку значительные различия в анатомическом строении столь несхожих организмов способны толкнуть исследователя на ложный путь; поэтому, как и в первый раз, яды испробовали на людях, испытали *in anima vili*¹.

Маркиза слыла женщиной благочестивой, щедрой благотворительницей, и редко бывало, чтобы обратившийся к ней нищий ушел без подаяния; более того, разделяя труды святых жен, посвятивших себя служению больным, она, случалось, заглядывала в больницы, куда присылала вино и лекарства, так что никто не удивился, когда она однажды, как обычно, явилась в Отель-Дье²; в этот раз она принесла бисквиты и варенье для выздоравливающих; эти ее приношения как всегда были приняты с благодарностью.

Спустя месяц она снова заглянула в больницу и поинтересовалась несколькими больными, в которых принимала живейшее участие; выяснилось, что у них случился рецидив, причем болезнь, совершенно изменив характер, приобрела куда более тяжелый оборот. Их поразили смертельный недуг, сопровождающийся необычным истощением сил. Маркиза принялась расспрашивать врачей, но те ничего не могли ей ответить: болезнь была им незнакома, и все их средства, все их искусство оказывались бессильны против нее.

Через две недели она приехала снова; несколько больных уже скончались, несколько еще были живы, но в безнадежном состоянии: то были живые скелеты, и единственными признаками, что жизнь еще теплится в них, были наличие голоса, зрения и дыхания.

В течение двух месяцев все они умерли, и медицина после вскрытия трупов оказалась столь же слепа и несведуща, как и при попытке излечения умирающих.

Таким образом, опыт оказался успешен, и Лашоссе получил приказ исполнить то, что ему поручено.

Однажды г-н заместитель судьи позвонил, и Лашоссе, который, как мы уже сказали, был в слугах у советника, вошел в кабинет спросить,

¹ На малоценном существе (*лат.*).

² Название старейшей городской больницы Парижа, основанной в VII веке.

что угодно г-ну д'Обре; тот работал со своим секретарем по фамилии Куте и попросил принести воды с вином. Через несколько секунд Лашоссе вернулся с бокалом.

Г-н д'Обре поднес бокал к губам, сделал глоток, но тут же выплюнул и закричал:

— Ты что мне принес, негодяй? Решил меня отравить? — затем, протянув бокал секретарю, сказал: — Посмотрите, Куте, что это такое.

Секретарь отлил несколько капель в кофейную чашку, понюхал, попробовал на язык: питье было горькое и пахло купоросом. Тут Лашоссе подошел к секретарю и объявил, что он догадывается, в чем дело: сегодня утром у одного из лакеев г-на советника был врач, и он, Лашоссе, очевидно не проверив, взял бокал, которым пользовался его захворавший товарищ; с этими словами, приняв бокал у секретаря, он сделал вид, будто отпил из него, после чего подтвердил, дескать, да, точно, он узнает этот запах, и выплеснул содержимое в камин.

Поскольку заместитель судьи проглотил слишком мало питья, чтобы почувствовать недомогание, он вскоре забыл про этот случай и про подозрение, которое совершенно произвольно родилось у него в мозгу; что же касается Сент-Круа и маркизы, увидев, что на сей раз вышла осечка, они решили использовать другое средство даже с риском поразить своей мстостью посторонних лиц.

Прошли три месяца, прежде чем подвернулся подходящий случай; в первых числах апреля 1670 года г-н д'Обре-старший пригласил брата-советника провести пасхальные праздники в своем имении Вилькуа в Босе; Лашоссе поехал вместе с хозяином и перед отъездом получил новые инструкции.

На следующий день после приезда на обед подали пирог с голубями; семеро отведавших его сразу после обеда почувствовали себя плохо, а те трое, что не стали его есть, не испытали никакого недомогания.

Особенно сильное действие отравы оказала на заместителя судьи, советника и местного начальника стражи¹. Раньше всех рвота началась у г-на д'Обре-старшего, то ли потому, что он больше всех съел пирога, то ли потому, что первая незначительная порция яда сделала его более предрасположенным к нему; через два часа то же самое началось и у советника; что же касается начальника стражи и остальных, несколько дней они страдали от чудовищных болей в желудке, но уже с самого начала их состояние было не настолько тяжелым, как у обоих братьев.

И на этот раз врачи оказались бессильны. 12 апреля, то есть через пять дней после отравления, заместитель верховного судьи и советник возвратились в Париж; они так страшно изменились, что казалось, будто они перенесли долгую и тяжелую болезнь. Г-жа де Бренвилье находилась в деревне и не появилась, пока братья болели.

Уже на первом консилиуме, созванном по поводу заместителя судьи, у врачей не было никаких надежд. Симптомы были те же, что и

¹ Г-жа де Севинье, письмо ССХСII (примеч. автора). — Севинье, Мари де Раюген - Шантель маркиза де (1626—1696) — французская писательница, ее письма к дочери считались образцом эпистолярного жанра.

при болезни г-на д'Обре-отца; врачи сочли, что это неизвестная наследственная болезнь, и в один голос приговорили больного.

Состояние его все ухудшалось, он испытывал непреодолимое отвращение к любой мясной пище, рвота не прекращалась. Три последних дня жизни он жаловался, что в груди у него словно горит огонь, и внутреннее пламя, пожиравшее его, казалось, сочилось из глаз — единственного, что оставалось еще живым, когда все остальное тело было уже мертво. Наконец 17 июня 1670 года он скончался. Потребовалось семьдесят два дня, чтобы яд довершил свое действие.

Возникли подозрения, поэтому произвели вскрытие трупа г-на д'Обре и составили протокол. Операция была произведена в присутствии господ Дюпре и Дюрана, хирургов, и Гавара, аптекаря, г-ном Башо, личным врачом обоих братьев; было установлено, что желудок и двенадцатиперстная кишка почернели и распадались в клочья, печень поражена гангренозным воспалением. Врачи признали, что подобные разрушения, вполне возможно, произведены ядом, но, поскольку некоторые соки в организме оказывают иногда такое же действие, утверждать, что смерть г-на заместителя судьи не была естественной, не решились; поэтому дальнейших исследований проводить не стали, и тело было предано земле.

На вскрытии главным образом настаивал г-н Башо, бывший врачом советника парламента. По всем признакам, советник был поражен той же болезнью, что и его старший брат, и врач надеялся вырвать у смерти оружие для защиты жизни. У советника была жесточайшая лихорадка, его ни на миг не отпускало сильнейшее возбуждение, как физическое, так и духовное; ни в каком положении он не мог пробыть дольше нескольких минут. Пребывание в постели стало для него пыткой, и тем не менее, покинув ее, он почти тотчас же просился обратно, лишь бы хоть ненадолго изменить род болей. Наконец по истечении трех месяцев он скончался. Желудок, двенадцатиперстная кишка и печень у него оказались так же разрушены, как и у старшего брата, но, кроме того, воспаление охватило почти все тело, что, как утверждали врачи, является недвусмысленным признаком действия яда, хотя нередко случается, тут же добавили они, что испорченный желудочный сок производит подобное же действие. Что касается Лашоссе, никто не заподозрил в нем виновника этой смерти; более того, в благодарность за заботы во время смертельной болезни советник отказал ему в завещании триста экю; еще тысячу франков он получил от Сент-Круа и маркизы.

Тем не менее столько смертей в одном семействе не только удручают сердце, но и ужасают разум. Смерть вовсе не злобна, она просто-напросто слепа и глуха; общество, разумеется, поразило, с каким ожесточением она уничтожала всех, кто носил фамилию д'Обре. Однако никто не заподозрил подлинных виновников, никто не обратил на них взгляд, расследование не было предпринято; маркиза надела траур по братьям, Сент-Круа продолжал бешено сорить деньгами, и все шло заведенным чередом.

В это же время Сент-Круа свел знакомство с Сен-Лораном, тем самым, чью должность так жаждал, но не мог получить Пенотье, и устано-

вил с ним весьма тесные отношения; мэтр Пенотье в этот же промежуток унаследовал от Лезека, своего тестя, умершего, когда никто этого не ожидал, огромнейшие средства и должность второго казначея Лангедока, но тем не менее он столь же алчно стремился получить место сборщика податей духовенства. И тут на помощь ему пришел случай: г-н Сен-Лоран тяжело заболел через несколько дней после того, как по рекомендации Сент-Круа взял себе нового слугу по имени Жорж, и болезнь его сопровождалась теми же симптомами, что были отмечены у отца и сыновей д'Обре, с одной лишь разницей — она протекала гораздо стремительней и все кончилось за сутки. Как и все д'Обре, г-н де Сен-Лоран умер в страшных мучениях. В тот день его навестило одно из должностных лиц верховного суда; он потребовал, чтобы ему самым подробным образом рассказали о смерти друга, о симптомах и течении болезни, после чего в присутствии слуг объявил нотариусу, что надобно произвести вскрытие трупа. Через час после этого Жорж исчез, никому не сказав ни слова и даже не потребовав жалованья. Подозрения усилились, но и на этот раз они были весьма неопределенными. Вскрытие показало общие нарушения, которые вовсе не обязательно могли быть вызваны действием яда; единственно, внутренние органы, не успевшие воспалиться, как это было у господ д'Обре, оказались испещренными красными точками, похожими на блошинные укусы.

В июне 1669 года Пенотье получил должность, принадлежавшую де Сен-Лорану.

Однако подозрения вдовы не только не рассеялись, но даже превратились почти в уверенность после бегства Жоржа. Вскоре одно обстоятельство подкрепило ее подозрения и совершенно убедило в том, что дело нечисто. Некий аббат, один из друзей покойного, знавший обстоятельства исчезновения Жоржа, спустя несколько дней после смерти Сен-Лорана повстречался с беглым слугой на улице Каменщиков неподалеку от Сорбонны; они оба шли по одной стороне, и в это время всю улочку загородил проезжавший воз с сеном. Жорж поднял голову, увидел аббата, узнал в нем друга своего бывшего хозяина, нырнул с риском быть раздавленным под телегу, перебрался на другую сторону и исчез, испугавшись человека, одним своим видом напоминавшего ему о совершенном преступлении и преисполнившего его страхом наказания.

Г-жа де Сен-Лоран подала жалобу на Жоржа, но все поиски оказались тщетными; найти его не смогли.

Тем временем слухи об этих странных, необъяснимых, внезапных смертях поползли по Парижу, возбуждая ужас. Сент-Круа, как всегда элегантный и блистательный, слышал разговоры о них в салонах, которые посещал, и ощутил беспокойство. Разумеется, никому еще и в голову не приходило заподозрить его, но тем не менее принять меры предосторожности было нелишне. Сент-Круа стал подумывать, как создать себе такое положение, которое поставило бы его выше подобных страхов. Вскоре должна была открыться вакансия на должности при дворе, стоила она сто тысяч экю; у Сент-Круа, как мы уже упоминали, не было никаких явных доходов, тем не менее пошли толки, что он намеревается купить ее.

Чтобы договориться насчет этого с Пенотье, Сент-Круа обратился к посредничеству Бельгиза. Однако возникли некоторые трудности со стороны Пенотье. Сумма была весьма значительная, в Сент-Круа Пенотье более не нуждался: он получил уже все наследства, на какие мог рассчитывать, и потому попытался убедить Сент-Круа отказаться от своего замысла.

Вот что писал по этому поводу Сент-Круа Бельгизу:

«Неужели, мой дорогой, вас нужно снова увещевать в пользу дела, которое столь же замечательно, важно и значительно, как и другое, небезызвестное вам, и которое может нам обоим дать спокойствие до конца жизни? У меня создается впечатление, что тут или мутит воду дьявол, или вы не желаете хорошенько подумать. Так подумайте же, дорогой, прошу вас, выверните мое предложение наизнанку, считайте его самой дурной уловкой на свете, и все равно вы увидите, что должны исполнить мою просьбу из тех соображений, что я все продумал для вашей же безопасности, потому как тут наши интересы сходятся. Словом, дорогой мой, прошу вас, помогите мне и можете быть уверены в моей бесконечной признательности; никогда в жизни вы не сделаете ничего более полезного и для себя, и для меня. Вы сами это прекрасно знаете, ибо я уже говорил вам об этом с той сердечной откровенностью, с какой не стал бы говорить даже с родным братом. Если можешь прийти сегодня после обеда, я буду дома, или жду тебя завтра утром в известном тебе месте по соседству, а нет — сам приду к тебе, это как ты пожелаешь. Сердечно и всецело твой».

Дом Сент-Круа находился на улице Бернардинцев, а «известное место по соседству» — это та самая комната в тупике у площади Мобер, которую он снимал у вдовы Брюне.

Именно в этой комнате и у аптекаря Глазе Сент-Круа занимался опытами, но, совершенно естественно, операции с ядами оказались губительными для тех, кто их проводил. Аптекарь заболел и умер, Мартен страдал ужасной рвотой и находился при смерти, а сам Сент-Круа, не понимая причины нездоровья, чувствовал себя весьма скверно; у него была такая сильная слабость, что он даже не мог выходить из дома, но, не желая прекращать опыты и во время болезни, велел перевести печь от Глазе к себе.

Дело в том, что Сент-Круа искал яд настолько действенный, чтобы даже его испарения были смертоносны. Он слышал историю об отравленном полотенце, которым во время игры в мяч вытирал пот юный дофин, старший брат Карла VII¹, и соприкосновение с которым оказалось для него губительным; еще живо было предание про перчатки Жанны д'Альбре²; однако тайны этих ядов были утрачены, и Сент-Круа надеялся их отыскать.

¹ Карл VII (1403—1461) — французский король, в 1429 году при содействии Жанны д'Арк короновался в Реймсе, изгнал англичан из Франции и в 1453 году победно завершил Столетнюю войну.

² Жанна д'Альбре (1528—1572) — королева Наварры, мать Генриха IV, бывшая одним из руководителей гугенотов. Приехав в Париж на свадьбу сына с Маргаритой Валуа, внезапно умерла. Существует стойкое мнение, что она была отравлена Екатериной Медичи, подарившей ей пропитанные ядом перчатки.

И вот тут произошло одно из тех странных событий, которые кажутся не случайностью, но карой небес. В тот момент, когда Сент-Круа, склонясь над печью, следил, как смертоносный препарат доходит до наивысшей крепости, стеклянная маска, закрывавшая его лицо, чтобы предохранить от тлетворных испарений, поднимающихся над кипящим раствором, внезапно соскользнула, и Сент-Круа рухнул, словно пораженный молнией¹.

Когда подошло время ужина, его жена, видя, что он сидит, запершись в кабинете, и не выходит, постучалась в дверь, но ответа не было; она перепугалась, поскольку знала, что муж занимается какими-то темными, таинственными делами. Она позвала слуг, те взломали дверь, и их взорам предстал лежащий у печи Сент-Круа, а рядом валялись осколки стеклянной маски.

Способов скрыть обстоятельство этой странной, внезапной смерти не было: слуги видели труп и могли проболтаться. Комиссар Пикар велел опечатать комнату, и вдова ограничилась тем, что незаметно убрала печь и осколки маски.

Вскоре слухи об этом происшествии распространились по Парижу. Сент-Круа знали, да и к тому же разговоры, что он собирается купить придворную должность, придали его фамилии еще большую известность. Лашоссе одним из первых услышал о смерти своего хозяина и, узнав, что кабинет его опечатали, спешно подал протест против этого решения, составленный в следующих выражениях:

Возражение Лашоссе, который утверждает, что в продолжение семи лет находился на службе у покойного и что дал ему на сохранение два года назад сто пистолей и сто экю серебром, каковые деньги должны лежать в холщовом мешочке в кабинете за окном, и в оном же мешочке находится записка, удостоверяющая, что деньги эти принадлежат ему, а также документы о передаче трехсот ливров, оставленных ему покойным советником г-ном д'Обре, Ласеру, о чем и написаны три расписки, каждая на сто ливров, каковые деньги и документы он требует вернуть ему.

Лашоссе ответили, что ему придется подождать, когда снимут печати, и если все обстоит так, как он утверждает, он получит принадлежащее ему.

Однако Лашоссе был не единственный, кого взволновала смерть Сент-Круа; маркиза, знавшая все тайны гибельного кабинета, едва до

¹ Существуют две версии гибели Сент-Круа. Господа Вотье, адвокат, и Гаранже, прокурор, авторы обвинения против Пенотье, утверждают, что Сент-Круа умер после пятимесячной болезни, вызванной ядовитыми испарениями, что он был в сознании до самой смерти и обрел утешение в религии. Автор же записки о чрезвычайном процессе г-жи де Бренвилье, напротив, представляет это происшествие именно так, как мы его тут излагаем; мы приняли эту версию как наиболее вероятную, наиболее распространенную и наиболее популярную: наиболее вероятную, потому что если бы Сент-Круа действительно болел пять месяцев и умер в полном сознании, у него вполне хватило бы времени уничтожить все бумаги, которые могли скомпрометировать его друзей; наиболее распространенную, потому что точно так же рассказывают про это событие Гайо де Питаваль и Рише; наиболее популярную, потому что его смерть была воспринята как Божий приговор (*примеч. автора*).



нее дошла весть о происшествии, тотчас же кинулась к комиссару, хотя уже было десять вечера, и потребовала разговора с ним; Пьер Фрате, старший писец комиссара, ответил ей, что хозяин уже лег спать, но маркиза продолжала настаивать, просить, чтобы его разбудили, а также требовать возвращения принадлежащей ей шкатулки, но при этом ни в коем случае не открывать ее. В конце концов писец поднялся в спальню г-на Пикара, а затем, смилостивившись, объявил, что удовлетворить просьбу маркизы в настоящий момент невозможно, поскольку комиссар спит. Г-жа де Бренвилье, видя безуспешность своих просьб, удалилась, но сказала, что завтра придет человека забрать шкатулку. Действительно, утром пришел какой-то человек и от имени

маркизы предложил комиссару пятьдесят луидоров за возвращение ей шкатулки, на что комиссар ответил, что шкатулка находится в запечатанной комнате, а когда печати снимут, ее обязательно вскроют и ежели предметы, которые требует маркиза, действительно принадлежат ей, они все будут ей возвращены.

Ответ этот прозвучал для маркизы подобно удару грома. Нельзя было терять ни минуты; из своего парижского дома на улице Нев-Сен-Поль она поехала в свой загородный дом в Пикпюсе и в тот же вечер на почтовых укатила в Льеж, куда прибыла на следующий день и укрылась там в монастыре.

Печати у Сент-Круа наложили 31 июля 1672 года, а снятие их произвели 6 августа. Когда собирались приступить к этой операции, явился поверенный, получивший все полномочия от маркизы, и потребовал, чтобы в протоколе была сделана следующая запись:

Явился Александр Деламарр, поверенный 2-жи де Бренвилье, каковой заявил, что ежели в вышеупомянутой шкатулке, которую требует его доверительница, обнаружится подписанное ею обязательство на сумму в тридцать тысяч ливров, то таковое было получено у нее обманом, и в случае даже если подпись ее будет признана подлинной, она намерена подать прошение о признании оного недействительным.

Когда эта формальность была исполнена, приступили к открытию кабинета Сент-Круа; ключ от него комиссару вручил кармелит брат Викторен. Комиссар открыл дверь, и вслед за ним в кабинет вступили заинтересованные стороны, должностные лица и вдова. Первым делом начали разбирать бумаги, чтобы разложить их по порядку и по датам. И тут вдруг выпал небольшой сверток, на котором было написано: «Моя исповедь». Все присутствующие, еще не имевшие никаких поводов считать Сент-Круа преступником, решили, что читать ее не следует. Товарищ генерального прокурора, с которым посоветовались на этот предмет, был того же мнения, и исповедь Сент-Круа сожгли.

Совершив этот акт, занялись составлением описи. Одним из первых предметов, привлечших внимание должностных лиц, стала шкатулка, которую требовала маркиза. Ее настойчивость возбудила любопытство, и потому начали с нее; все собрались, чтобы взглянуть, что в ней находится, и произвели вскрытие. Ну а теперь мы приведем протокол, ибо ничто в данном случае не способно произвести столь сильного воздействия и не звучит столь ужасающе, как официальный документ.

В кабинете Сент-Круа была обнаружена шкатулка размером фут на фут, при открытии которой наверху был обнаружен полулист бумаги, озаглавленный «Мое завещание», исписанный с одной стороны и содержащий нижеследующее:

«Покорнейше умоляю тех, к кому попадет эта шкатулка, оказать мне одолжение и передать ее в собственные руки маркизе де Бренвилье, проживающей на улице Нев-Сен-Поль, поскольку все, что находится в шкатулке, имеет отношение только к ней и принадлежит ей одной, да к

тому же содержимое никому не может принести никакой пользы, а равно и никакой корысти; в случае же если маркиза умрет раньше меня, прошу сжечь шкатулку со всем содержимым, ничего не открывая и не перебирая. А чтобы потом не было ссылок на неведение, клянусь Господом, которого безмерно чту, и всем святым в мире, что все сказанное здесь — истинная правда. В случае же если это мое желание, всецело законное и здоровое, не будет выполнено, пусть так поступившим будет стыдно передо мной и на том, и на этом свете, и торжественно заявляю, что такова моя воля.

Составлено в Париже пополудни
25 дня мая месяца 1672 года.

Подписано де Сент-Круа.

Внизу приписано нижеследующее:

Один пакет предназначен г-ну Пенотье, каковой и надо ему отдать.

Понятное дело, подобное начало лишь усилило всеобщее любопытство, послышался удивленный шепот, затем вновь воцарилась тишина. Вот что в шкатулке было обнаружено и занесено в опись:

«Найден пакет, опечатанный девятью печатями с разными гербами, на котором написано:

«Бумаги, не представляющие ни для кого никакого интереса, в случае моей смерти сжечь. Покорнейше прошу тех, в чьи руки они попадут, сжечь оный пакет, не вскрывая. Поручаю это их совести».

В пакете находились два меньших пакета со снадобьем из сулемы.

Item¹, пакет, запечатанный шестью печатями с разными гербами, с подобной же надписью, в котором также оказалось полфунта сулемы.

Item, пакет, запечатанный шестью печатями с различными гербами, с подобной же надписью, в котором находились три других пакета: один с полуунцией сулемы, второй с двумя с четвертью унциями римского купороса, третий — с прокаленным очищенным купоросом.

В шкатулке обнаружена большая квадратная склянка емкостью в полштофа, наполненная прозрачной жидкостью, осмотрев которую, врач г-н Моро объявил, что не может определить ее свойств до проведения проб.

Item, еще одна скляница с полусетье² прозрачной жидкости, на дне которой находится беловатый осадок. Моро сказал о ней то же, что и о первой.

Небольшой фаянсовый сосуд, содержащий около трех grosов³ очищенного опиума.

Item, сложенный листок бумаги, в котором находилось две драхмы порошка едкой сулемы.

¹ Также (лат.).

² Старинная мера жидкости, равная четверти литра.

³ Мера веса, равная $\frac{1}{8}$ фунта.

Далее, маленькая коробочка, в которой находится разновидность минерала, именуемого адским камнем¹.

Далее, листок бумаги, в который завернута унция опиума.

Далее, кусок чистой сурьмы весом в три унции.

Далее, пакет с порошком, на котором написано «Для остановки кровотечений у женщин». Моро сказал, что это сухие цветы и бутоны айвы.

Item, был обнаружен пакет, опечатанный шестью печатями, с надписью на нем: «Бумаги в случае моей смерти сжечь», в котором лежали тридцать четыре письма, написанные, как было сказано, г-жой де Бренвилье.

Item, еще один пакет, опечатанный шестью печатями, с той же надписью, что и предыдущий, в котором находятся двадцать семь листков бумаги, и на каждом написано: «Некоторые любопытные секреты».

Item, еще один пакет под шестью печатями с той же надписью, что и предыдущий, в котором находятся семьдесят пять писем, адресованных разным лицам».

Кроме того, в шкатулке были два обязательства — одно маркизы де Бренвилье на тридцать тысяч ливров, второе Пенотье на десять тысяч ливров; первое относилось ко времени смерти г-на д'Обре-отца, второе ко времени смерти г-на де Сен-Лорана. Разница же в суммах свидетельствовала, что у Сент-Круа был тариф и отцеубийство у него шло дороже, чем простое убийство.

Итак, умирая, Сент-Круа завещал яды любовнице и другу; ему было мало собственных преступлений, он хотел быть сообщником преступлений, которые совершатся в будущем.

Первым делом судейские чиновники озаботились подвергнуть все эти вещества анализу и провести опыты с ними на животных.

Вот отчет аптекаря Ги Симона, которому было поручено заняться анализами и опытами:

«Этот хитроумный яд ускользает при любых исследованиях; он настолько таинствен, что его невозможно распознать, столь неуловим, что не поддается определению ни при каких ухищрениях, обладает такой проникающей способностью, что ускользает от прозорливости врачей; когда имеешь дело с этим ядом, опыт и знания бесполезны, правила сбивают с толку, поучительные изречения бессмысленны.

Были произведены самые достоверные и общепринятые опыты с различными веществами и животными.

В воде вес обычного яда тянет его на дно; вода легче его, он уступает ей и, ускоряясь, опускается вниз.

Испытание огнем не менее определено: огонь выпаривает, рассеивает и выжигает в нем все безвредное и чистое, оставляя только горькую, едкую материю, которая одна только не поддается воздействию пламени.

Влияние, какое обычный яд оказывает на животных, еще более определено: он производит злокачественное действие во всех частях

¹ Ляпис.

организма, куда проникает и повреждает все, чего коснется, воспаляя и сжигая жестоким огнем все внутренности.

Яд Сент-Круа прошел все испытания и ускользнул во всех опытах: яд плавает на воде, он легче нее и вынуждает оный элемент подчиниться; он также оказался неуловим при испытании огнем, после какового от него осталась только безвредная пресная материя; в животных он скрывается так искусно и с такой хитростью, что совершенно невозможно его распознать; у животного все органы остаются здоровыми и невредимыми; проникая в них как источник смерти, этот хитрый яд в то же время сохраняет в них видимость и признаки жизни.

Были произведены самые разные опыты; во-первых, по несколько капель жидкости, находящейся в одной из склянок, налили в тартаровое масло¹ и в морскую воду, и она не осела на дно сосудов, в которые была налита; во-вторых, оную жидкость процеживали через ситило, и на дне не обнаружили никакого сухого вещества, горького на вкус, а лишь незначительный серый налет; в-третьих, она была испробована на индейской курице, голубе, собаке и других животных, каковые животные вскорости околели, а по вскрытии на следующий день ничего не было обнаружено, кроме незначительного количества свернувшейся крови в желудочке сердца.

При следующем испытании белый порошок был дан кошке в бараньих потрохах, после чего кошку рвало в течение получаса, а на следующий день она была найдена мертвой; при вскрытии было установлено, что ни один ее орган не претерпел изменений вследствие действия яда.

При втором испытании этого же порошка на голубе тот некоторое время спустя околел, и при вскрытии ничего чрезвычайного не было обнаружено, кроме незначительного количества жидкости ржавого цвета в желудке».

Эти исследования, доказывавшие, что Сент-Круа был знающим химиком, навели на мысль, что искусством своим он занимался небескорыстно; вспомнили про череду скоропостижных и совершенно неожиданных смертей, к тому же долговые обязательства маркизы и Пенотье смахивали на плату за убийство, но, поскольку одна уехала, а второй был слишком могуществен и богат, арестовывать его без доказательств побоялись и тут вспомнили о прошении Лашоссе.

В этом прошении утверждалось, что Лашоссе в течение семи лет находился на службе у Сент-Круа; таким образом, он не считал перерывом в службе то время, что провел у господ д'Обре. Мешок с тысячей пистолей и тремя расписками на сто ливров каждая оказался в указанном месте; из этого следовало, что Лашоссе в точности знал, где что в кабинете находится, а раз он знал кабинет, то должен был знать и про шкапулку, но если он знал про нее, то не мог быть невиновен.

Для г-жи Манго де Вилларсо, вдовы г-на д'Обре-сына, заместителя судьи, этого оказалось вполне достаточно, чтобы подать на Лашоссе жалобу в суд; был дан указ о взятии его под стражу, и Лашоссе арестовали. При аресте при нем обнаружили яд.

¹ Общепринятое в ту эпоху название гидрокарбоната калия.

КАРЛ ЛЮДВИГ ЗАНД

22 марта 1819 года около девяти утра молодой человек лет примерно двадцати трех — двадцати четырех, одетый, как одеваются немецкие студенты, то есть в короткий сюртук с шелковыми бранденбурами, панталоны в обтяжку и невысокие сапоги, остановился на небольшом холме, который находится в трех четвертях пути из Кайзерталя в Мангейм и с вершины которого открывается вид на этот город, спокойно и безмятежно лежащий среди садов, бывших некогда крепостными валами, а ныне опоясывающих его подобно зеленому, цветущему кольцу. Поднявшись туда, молодой человек снял картуз, на козырьке которого переплетались три вышитых серебром дубовых листа, и подставил обнаженную голову порывам свежего ветерка, долетающего из долины реки Неккар. На первый взгляд его неправильные черты производили странное впечатление, однако стоило присмотреться к его бледному, изрытому оспинами лицу в обрамлении длинных черных кудрей, открывающих большой выпуклый лоб, увидеть поразительную мягкость его глаз, как наблюдатель вскоре начинал испытывать к нему необъяснимую грустную симпатию, какой поддаешься неосознанно, даже не думая ей противиться. Хотя час был еще ранний, молодой человек, похоже, проделал уже долгий путь, так как сапоги его покрывала дорожная пыль, но, видимо, он был уже близок к цели, потому что, отбросив картуз и сунув за пояс длинную трубку, неразлучную подругу немецких буршей, он вытащил из кармана маленькую записную книжицу и карандашом вписал в нее:

«Вышел из Ванхайма в пять утра и в девять с четвертью нахожусь в виду Мангейма. Да поможет мне Бог!»

Затем он сунул книжку в карман и несколько секунд стоял неподвижно, шевеля губами, словно мысленно творя молитву, после чего надел картуз и твердым шагом направился к Мангейму.

Этот молодой студент был Карл Людвиг Занд, который пришел из Вены через Франкфурт и Дармштадт, чтобы убить Коцебу.

Но теперь, прежде чем представить нашим читателям одно из тех чудовищных деяний, для оценки которого не существует иного судьи, кроме совести, необходимо, чтобы они позволили нам как можно полнее познакомить их с тем, кого монархи считают убийцей, судьи — фанатиком, а молодежь Германии — мучеником.



Карл Людвиг Занд родился 5 октября 1795 года в Вонзиделе, расположенном среди гор Фихтельгебирге; он был младшим сыном Готфрида Кристофа Занда, первого председателя и советника прусского королевского суда, и его супруги Доротеи Иоганны Вильгельмины Шапф. Кроме двух старших братьев — Георга, занимавшегося коммерцией в Санкт-Галлене, и Фрица, адвоката в апелляционном суде в Берлине, — у Карла были еще две сестры — старшая, которую звали Каролина, и младшая, по имени Юлия.

Еще в колыбели он перенес оспу, причем в самой тяжелой форме. Вирус, распространившийся по всему телу, покрыл его язвами, голова являла собой сплошной струп. Несколько месяцев ребенок находился между жизнью и смертью, но наконец жизнь восторжествовала.

Тем не менее он оставался слабым и болезненным до семи лет, когда у него случилась мозговая горячка и жизнь его вновь оказалась в опасности. Зато горячка эта, закончившись, унесла с собой все последствия первой болезни.

С этого времени его здоровье и силы, похоже, начали укрепляться, однако из-за двух длительных болезней он весьма отстал в учебе и смог пойти в школу только в восемь лет; к тому же поскольку из-за физических страданий мальчик несколько отстал в развитии умственных способностей, ему поначалу пришлось прикладывать вдвое больше усердия, нежели сверстникам, чтобы достичь одинаковых с ними результатов.

Видя, какие усилия прилагает маленький Занд, чтобы преодолеть изъяны своего организма, директор Хофской гимназии Зельфранк, че-

ловец большой учености и благородства, проникся к мальчику такой приязнью, что, когда его впоследствии назначили директором гимназии в Регенсбург, не смог расстаться со своим учеником и взял его с собой. Именно в этом городе Карл Занд в одиннадцатилетнем возрасте явил первое доказательство присущих ему мужества и человечности. Однажды, будучи на прогулке с друзьями, он услышал призыв о помощи: мальчик лет восьми-девяти упал в пруд. Тотчас же Занд, не думая о своем праздничном костюмчике, за которым всегда весьма старательно следил, бросился к пруду и, приложив неслыханные для ребенка его возраста усилия, сумел вытащить утопающего на берег.

Лет в тринадцать Занд, который стал проворней, ловчей и отважней многих своих товарищей постарше, любил участвовать в сражениях между мальчишками из города и окрестных деревень. Театром этих ребяческих войн, бледным и невинным отражением жестоких битв, заливавших в ту эпоху Германию кровью, обыкновенно служила равнина, расположенная между городом Вонзиделем и горой Санкт-Катарина, вершину которой венчали руины и среди них прекрасно сохранившаяся башня. Занд, ставший одним из самых пылких воителей, видя, что войско его много раз бывало побеждено из-за малочисленности, решил во избежание очередного поражения укрепить башню на горе Санкт-Катарина и укрыться в ней при ближайшем сражении, ежели судьба опять отвернется от них. Он посвятил товарищей в свой план, и тот был с восторгом принят. В течение целой недели в башню стаскивали всевозможные средства для обороны, укрепляли двери и лестницы. Приготовления эти велись в столь глубокой тайне, что вражеской армии не удалось пронюхать о них.

Наступило воскресенье, а именно в праздничные дни происходили сражения. Но то ли из-за стыда за прошлое поражение, то ли по какой другой причине войско, к которому принадлежал Занд, оказалось еще малочисленней, чем обыкновенно. Тем не менее, зная, что есть куда отступить, Занд решился принять битву. Она была не очень продолжительной: одна из армий слишком уступала в численности другой и не могла долго сопротивляться, поэтому она, стараясь сохранять порядок, начала отступление к башне Санкт-Катарины, куда и прибыла без особых потерь. Добравшись туда, часть мальчишек тотчас же поднялась на балконы и, пока остальные внизу защищали стены, принялись осыпать преследователей галькой и камнями. Те же, пораженные новым, впервые использованным способом защиты, отступили на несколько шагов, воспользовавшись этим, остаток отряда вошел в крепость и закрыл двери.

Изумление осаждающих трудно передать: никто никогда не пользовался этими дверями, и вдруг они становятся непреодолимым препятствием, укрывающим осажденных. Несколько человек побежали искать инструменты, которыми можно было бы разбить двери, а оставшаяся часть вражеской армии взяла гарнизон в осаду.

Через полчаса посланцы вернулись не только с кирками и ломami, но и со значительным подкреплением, состоявшим из ребят той деревни, куда они бегали за осадным инструментом. Начался приступ. Занд и его товарищи отчаянно защищались, но скоро стало ясно, что, ежели

не придет подмога, гарнизону придется капитулировать. Было предложено бросить жребий, чтобы один из осажденных, пренебрегая опасностью, вышел из крепости, прорвался сквозь вражеские порядки и бросил клич вонзидельским мальчишкам, которые трусливо сидят по домам. Рассказ об опасности, какой подверглись их друзья, позор капитуляции, что падет и на них, вне всяких сомнений, пробудит их от лени и заставит совершить вылазку, которая позволит гарнизону выйти из крепости. Предложение было принято, однако, не желая полагаться на случай, Занд вызвался добровольцем. Поскольку всем была известна его храбрость, ловкость и быстрота, предложение было принято единодушно, и новый Деций¹ приготовился принести себя в жертву.

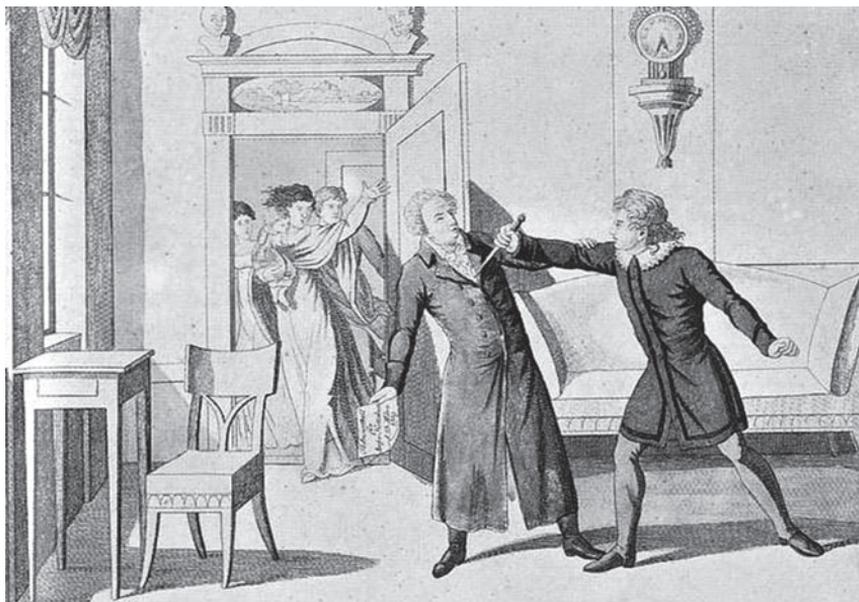
Дело это, надо сказать, было небезопасное. Существовали лишь два способа выйти из башни: первый — через дверь и там, разумеется, попасть в руки неприятелей; второй — прыгнуть с балкона, слишком высокого, чтобы осаждающим пришлось в голову караулить под ним. Не раздумывая ни секунды, Карл прошел на балкон; там он, поскольку с малых лет был весьма религиозен, сотворил короткую молитву и затем без страха и колебаний с уверенностью прыгнул на землю, а высота там была двадцать два фута.

Занд тотчас же устремился к Вонзиделю и достиг его, хотя враги послали вдогонку за ним лучших своих бегунов. К осажденным же, когда они увидели, что его предприятие увенчалось успехом, возвратилось мужество, и они объединили свои усилия против осаждающих в надежде на красноречие Занда, которому оно давало огромную власть над товарищами. И действительно, не прошло и получаса, как они увидели его возвращающимся во главе трех десятков мальчишек, вооруженных пращами и арбалетами. Осаждающие, оказавшись под угрозой нападения как с тыла, так и с фронта, поняли всю невыгодность своего положения и ретировались. Победа досталась армии Занда, и в этот день он был триумфатором.

Мы так подробно рассказали эту историю, чтобы наши читатели поняли по характеру ребенка, каким тот стал, когда превратился в мужчину. Впрочем, у нас еще будет возможность увидеть, как развивался этот спокойный и возвышенный характер среди как малых, так и великих событий.

Примерно в то же время Занд, можно сказать, чудом дважды избежал смертельной опасности. Как-то творило, полное извести, упало со строительных лесов и разбилось у его ног. А еще однажды герцог Кобургский, который во время пребывания короля Пруссии на тамошних водах жил у родителей Занда, въезжая на полном скаку в карете, запряженной четверней, во двор, увидел, что под аркой ворот стоит Карл; у мальчика не было возможности отскочить ни вправо, ни влево, не рискуя оказаться прижатым к стене и раздавленным колесами: кучер был не в состоянии удержать упряжку, но тут Занд упал ничком на землю, карета промчалась над ним, причем ни копыта коней, ни колеса даже не задели его — он встал без единой царапины.

¹ Публий Деций Мус — римский консул, в 340 г. до н. э. одержавший победу над латинами. В соответствии с легендой он за победу пожертвовал свою жизнь подземным божествам.



С той поры многие смотрели на Занда как на избранника Божия, говорили, что его хранит Бог.

А тем временем происходили серьезнейшие политические события, под влиянием которых мальчик прежде времени превратился в юношу. Наполеон навис над Германией, подобно новому Сеннахерибу¹. Штапс² пожелал сыграть роль Муция Сцеволы³ и умер мученической смертью.

Занд жил тогда в Хофе и учился в гимназии добрейшего Зальфранка. Узнав, что тот, кого он считал антихристом, должен приехать в этот город, он тотчас же покинул его и вернулся к родителям. Когда те спросили его, почему он бросил гимназию, Карл ответил:

— Потому что я не смог бы жить в одном городе с Наполеоном и не попытаться убить его, но я чувствую, что рука у меня еще недостаточно тверда для этого.

Происходило это в 1809 году, Занду было четырнадцать лет.

Мир, подписанный 15 октября, дал Германии небольшую передышку и позволил юному фанатику продолжить учебу, не отвлекаясь на политические тревоги; они снова захватят его в 1811 году, когда он узнает,

¹ Сеннахериб (785—681 до н. э.) — ассирийский царь, упоминаемый в Библии (Царств, 2 и 4), совершал походы в Иудею, осаждал Иерусалим, но вынужден был отступить.

² Штапс, Фридрих (1792—1809) — немецкий торговец, покушался в Вене на Наполеона, от помилования отказался, предупредив, что в этом случае повторит свою попытку. Расстрелян.

³ Муций Сцевола — легендарный римский герой. Схваченный после неудачного покушения на этрусского царя Порсену, он, доказывая свое мужество, положил левую руку в огонь, после чего пораженный Порсена отпустил его и снял осаду Рима.

что гимназия ликвидирована и заменена начальной школой. Директор Зальфранк назначен в эту школу учителем, но вместо тысячи флоринов, которые он получал на старом месте, в новой должности ему положили всего лишь пятьсот. Карл не мог оставаться в начальной школе, где у него просто не было возможности продолжать образование, и он написал матери письмо, сообщив об этом событии и о том, с каким душевным спокойствием старый немецкий философ принял перемену своей судьбы. Вот ответ матушки Занда; его вполне достаточно, чтобы узнать эту женщину, чье большое сердце всегда было искренним даже среди самых жестоких страданий; письмо это отмечено печатью немецкого мистицизма, о котором мы во Франции не имеем ни малейшего представления.

«Мой дорогой Карл!»

Ты не мог сообщить мне более горестную весть, нежели эта, о событии, которое обрушилось на твоего учителя и приемного отца, и все же, как бы ужасно оно ни было, он примирится с ним, дабы дать добродетели своих воспитанников великий пример покорности, какую всякий подданный должен выказывать королю, которого над ним поставил Бог. Впрочем, можешь быть уверен, что в целом свете нет более верного и разумного поведения, нежели то, что исходит из древней заповеди: «Чти Бога, будь праведен и никого не бойся».

И помни также: если творится вопиющая несправедливость по отношению к честным людям, раздастся голос общества и возносит тех, кто унижен.

Но ежели вопреки всякой вероятности этого не произойдет, ежели Господь ниспошлет добродетели нашего друга это наивысшее испытание, ежели Провидение окажется до такой степени у него в долгу, верь мне, оно и в этом случае с лихвой возместит свой долг: события и происшествия, что происходят вокруг нас и с нами, всего лишь механизм, который приводит в движение верховная десница, дабы пополнить наше воспитание для вступления в лучший мир, и только там мы обретем наше истинное место. Постарайся же, дорогое мое дитя, неизменно и непрерывно следить за собой, дабы не принимать отдельные красивые и возвышенные жесты за подлинную добродетель, и всякий миг будь готов исполнить то, чего требует от тебя долг. Поверь мне, в сущности, когда рассматриваешь явления изолированно, нет ни великого, ни малого, и лишь их совокупность дает нам единство добра либо зла.

Впрочем, Господь ниспосылает испытания только сердцам, которым он даровал силу, и твое описание того, как твой учитель воспринял постигшую его беду, является еще одним подтверждением этой великой и вечной истины. Дорогой мой мальчик, бери с него пример, и если тебе нужно покинуть Хоф и переехать в Бамберг, спокойно и мужественно смирись с этой необходимостью; человек получает три разных рода воспитания: то, которое ему дают родители, второе — налагаемое обстоятельствами и, наконец, то, где он сам является собственным воспитате-

лем; раз уж случилось такое несчастье, моли Бога, дабы он помог тебе достойно довершить воспитание третьего рода, самое важное из всех.

В качестве примера я приведу тебе жизнь и поведение моего отца, о котором ты почти ничего не слышал, так как он скончался еще до твоего рождения, но чей дух и облик возродился, если взять всех твоих братьев и сестер, в тебе одним. Злосчастный пожар, обративший его родной город в пепел, уничтожил как родительское, так и его собственное состояние; его отец, видя, что все утратил, поскольку огонь, как было установлено, начался в соседнем доме, скончался от горя, а мать, уже в течение шести лет прикованная к одру болезни по причине чудовищных конвульсий, в перерывах между приступами недуга содержала трудом своих рук трех малолетних дочерей, и тогда твой дед нанялся простым приказчиком в один из самых крупных торговых домов Аугсбурга, где его живой и в то же время ровный характер всем пришлось по сердцу; он поступил на должность, для которой не был рожден, и возвратился в родной дом с чистым и незапятнанным сердцем, чтобы стать опорой матери и сестрам.

Человек многое может, когда жаждет многое совершить; присоедини же свои усилия к моим молитвам, а остальное доверь Богу».

Предсказание пуританки сбылось: некоторое время спустя директор Зальфранк был назначен учителем в Райхенбург, куда за ним последовал Занд; именно там его настигли события 1813 г. В конце марта он пишет матери:

«Я даже не смогу Вам описать, дражайшая матушка, до какой степени я исполнен спокойствия и счастья с той поры, как мне дозволено уверовать в освобождение отчизны, каковое, как я слышу со всех сторон, должно скоро произойти, отчизны, которую, в своем уповании на Господа, я уже заранее вижу вольной и могучей и ради счастья которой я готов на любые муки и даже на смерть. Наберитесь сил, чтобы вынести это потрясение. Если по случайности оно затронет и нашу провинцию, возведите глаза к всемогущему Богу, а затем опустите их и посмотрите на прекрасную и изобильную природу. Всемиловитый Бог, спасавший и сохранивший стольких людей во время губительной Тридцатилетней войны, сумеет и пожелает и сегодня сделать то, что сумел и пожелал сделать тогда. Ну а я верю и надеюсь».

Лейпцигская битва подтвердила предчувствия Занда; следом пришел 1814 год, и он окончательно поверил, что Германия свободна. 10 декабря 1814 года он покинул Райхенбург со следующим свидетельством своих учителей:

«Карл Занд принадлежит к тем немногочисленным избранным юношам, которые выделяются одновременно и умственными способностями и душевными качествами; в прилежании и усердии он превосходит всех своих соучеников, чем объясняются его быстрые успехи во всех философских и филологических науках; единственно ему не-

обходимо еще пополнить знания в математике. Самые сердечные пожелания учителей сопутствуют ему при выпуске.

Райхенбург, 15 сентября 1814 г.

И. А. Кайн,

директор и наставник первого¹ класса».

Но подготовили эту плодородную почву, в которую учителя посеяли семена знаний, конечно, родители, главным же образом мать, и Занд это прекрасно понимал, так как написал ей при отъезде в Тюбинген в университет, где собирался изучать теологию, необходимую для получения должности пастора, поскольку выбрал для себя это поприще:

«Признаюсь, что обязан Вам так же, как мои братья и сестры, той наилучшей и большей частью моего воспитания, которой, как я заметил, недостает многим из окружающих меня людей. Только небо одно способно вознаградить Вас за это сознанием, что Вы столь благородным и высоким образом и в этом исполнили свой родительский долг».

Навестив брата в Санкт-Галлене, Занд приехал в Тюбинген, куда его влекла главным образом слава Эшенмайера²; эту зиму он прожил спокойно и без особых событий, если не считать приема в корпорацию буршей, именуемую «Тевтония», но вот подошла Пасха 1815 г. и с нею вместе страшная весть, что Наполеон высадился в бухте Жюан. Тотчас же вся немецкая молодежь, способная носить оружие, объединилась под знаменами 1813 и 1814 гг.; Занд последовал общему примеру, но только если у других подобный поступок был следствием порыва, то у него — результатом спокойного и обдуманного решения.

Вот что он писал в Вонзидель по этому поводу:

«Дорогие мои родители, до сих пор я слушался Ваших отеческих наставлений и советов моих превосходных профессоров, до сих пор я старался быть достойным воспитания, которое Господь ниспослал мне через Вас, и усердно учился, дабы обрести возможность распространять на своей родине слово Божие; вот почему сегодня я откровенно уведомляю Вас о принятом мною решении, уверенный, что, как нежные и любящие родители, Вы примете его спокойно, а как немецкие родители и патриоты, даже одобрите это мое решение и не станете пытаться отговорить меня от него.

Отчизна вновь зовет на помощь, и на сей раз этот призыв обращен и ко мне, ибо теперь у меня достаточно и отваги, и сил. Поверьте, мне пришлось выдержать большую внутреннюю борьбу, чтобы в 1813 г., когда раздался первый ее клич, не отозваться на него, и удержала меня только уверенность, что тысячи других юношей сражаются и побеждают ради счастья Германии, а мне еще нужно расти, дабы вступить на мирное поприще, к которому я предназначен. Теперь же нужно сохранить обретен-

¹ На Западе отсчет классов идет в порядке, обратном нашему.

² Эшенмайер, Карл Август (1768—1852) — профессор медицины в Тюбингенском университете.

ную свободу, которая во многих местах уже принесла столь обильные плоды. Всемогущий и милосердный Господь послал нам это великое и, убежден, последнее испытание, и мы должны подняться, если мы достойны величайшего его дара и способны силой и твердостью сохранить его.

Никогда отчизне не грозила столь огромная опасность, как сейчас, и потому среди германской молодежи сильные должны поддерживать колеблющихся, дабы подняться всем вместе. Наши отважные братья на Севере уже собираются со всех сторон под свои знамена; Вюртембергский ландтаг объявил всеобщую мобилизацию, и отовсюду стекаются добровольцы, жаждущие лишь одного — умереть за родину. Мой долг таков же — сражаться за свою страну и за всех, кого я люблю. Не будь я глубочайше убежден в этой истине, я не стал бы сообщать Вам о своем решении, но ведь у моих родных истинно германские сердца, и они сочли бы меня трусом, недостойным сыном, если бы я не последовал этому порыву. Разумеется, я представляю огромность жертвы, которую приношу; поверьте, мне стоит большого труда бросить занятия и пойти под командование неотесанных и необразованных людей, но эта жертва только укрепляет мое мужество и решимость обеспечить свободу своих братьев; как только эта свобода упрочится, если будет на то соизволение Бога, я вернусь, дабы нести им его слово.

Итак, я на некоторое время расстаюсь с Вами, мои почтенные родители, мои братья и сестры, все, кто мне так дорог. По зрелом размышлении я решил, что всего лучше мне было бы служить с баварцами, и потому добился, чтобы на все время, пока будет длиться война, меня взяли в роту баварских стрелков. Прошайте же, будьте счастливы; как бы далеко Вы ни были от меня, я буду следовать Вашим благочестивым наставлениям. На этом новом пути я надеюсь остаться чист перед Богом и идти той тропой, что возвышается над делами земными и ведет к небесам; быть может, и на этом поприще во мне сохранится высокое стремление спасти души от гибели.

Со мной везде и всегда будет Ваш бесценный образ; везде и всегда я хочу иметь Бога перед очами и в сердце, дабы с радостью вынести страдания и невзгоды этой священной войны. Поминайте меня в своих молитвах; пусть Господь ниспошлет Вам надежду на лучшее будущее, дабы помочь пережить нынешние скверные времена. Мы вскоре свидимся, если победа будет за нами, а если же потерпим поражение (да сохранит нас от этого Господь!), то моя последняя воля — и я умоляю, заклинаю Вас, мои дорогие и достойные родители, исполнить эту мою последнюю, предсмертную волю, — чтобы Вы оставили эту порабощенную страну ради любой другой, не попавшей пока еще под иго.

Но зачем печалить друг другу сердца? Разве наше дело не правое и не святое и разве Бог не праведен и не свят? Так неужели же мы не победим? Как видите, иногда у меня тоже случаются сомнения, поэтому в своих письмах, которых я с нетерпением жду, имейте жалость ко мне и не селите в мою душу страхов, ведь в любом случае мы навсегда обретем друг друга в иной отчизне, и она будет свободной и счастливой.

Остаюсь до смерти Вашим почтительным и признательным сыном

Карл Занд».

В постскрипуме были два стиха Кернера¹:

Быть может, мы узрим над трупами врагов
Взошедшую звезду Свободы.

Попрошавшись таким образом с родителями, Занд со стихами Кернера на устах оставил свои книги, и 10 мая мы уже видим его с оружием в руках среди стрелков-добровольцев, собранных под командованием майора Фалькенхаузена, который в ту пору оказался в Мангейме; там Занд встретил своего второго брата, опередившего его, и они вместе обучаются солдатскому ремеслу.

Хотя Занд не был привычен к большим физическим нагрузкам, он прекрасно перенес все трудности похода, отказываясь от любых поблажек, которые пробовали предоставить ему командиры; он не хотел, чтобы кто-то превзошел его в трудах, предпринятых им ради блага родной страны. На всем пути он братски делился тем, что у него было, с товарищами, помогал более слабым, беря у них ранцы, и, будучи к тому же проповедником, поддерживал их словом, когда ничего другого сделать не мог.

18 июня в восемь утра он был на поле Ватерлоо. 14 июля вошел в Париж.

18 декабря 1815 года Карл Занд и его брат возвратились в Вонзидель, к великой радости всей семьи. Он провел в родительском доме рождественские и новогодние праздники, но пламенная тяга к своему призванию не позволила ему долго там оставаться, и 7 января он прибывает в Эрланген.

Именно тогда, желая наверстать потерянное время, он решает подчинить свою жизнь жестокому единообразному распорядку и записывать каждый вечер все, что делал с утра. Благодаря этому дневнику мы сможем проследить не только все поступки юного энтузиаста, но и все его мысли и духовные искания. В нем Занд простодушен до наивности, экзальтирован до помешательства, добр к другим до слабости, суров к себе до аскетизма. Его безмерно удручают расходы, которые родители вынуждены нести ради его образования, и всякие бесполезные и дорогостоящие удовольствия оставляют в его сердце глубокие угрызения.

Так 9 февраля 1816 года он записывает:

«Я рассчитывал сегодня навестить родителей. Поэтому зашел в торговый дом и там весьма приятно провел время. Н. и Т. завели, как всегда, свои бесконечные шуточки насчет Вонзиделя, так продолжалось до одиннадцати. Но затем Н. и Т. стали меня терзать, зазывая в кафе², я отказывался до последней возможности. Так как всем своим видом они давали понять, будто считают, что я из пренебрежения к ним не желаю пойти выпить по стаканчику рейнского, я более не посмел отказываться. К несчастью, они не ограничились брауэнбергером, и хотя

¹ Кернер, Теодор (1791—1813) — немецкий поэт, участвовавший как партизан в освободительной войне против Наполеона, погиб в сражении.

² Во французском языке нет слова, чтобы правильно передать немецкое Weinhaus. Это заведение — нечто среднее между трактиром и кабаком, где студенты собираются по вечерам, чтобы курить и пить пиво и рейнские вина.

мой стакан еще не опорожнился и до половины, Н., велел принести бутылку шампанского. Когда она опустела, Т. заказал вторую, а когда и вторая была выпита, оба они потребовали третью за мой счет, хоть я и был против. Домой я вернулся совершенно одурманенный, рухнул на софу и с час проспал на ней, прежде чем лег в постель.

Так прошел этот постыдный день, в который я так мало думал о моих добрых, почтенных родителях, живущих бедной и трудной жизнью, день, когда я по примеру тех, у кого есть деньги, позволил вовлечь себя в бессмысленную трату четырех флоринов, а ведь на них вся наша семья могла бы жить целых два дня. Прости меня, Господи, умоляю, прости меня и прими мою клятву, что никогда больше я не впаду в подобный грех. Отныне я намерен жить еще воздержанней, чем привык, дабы восполнить в своем тощем кошельке досадные следы роскошества и не оказаться вынужденным просить у матушки денег прежде того дня, когда она сама решит прислать мне их».

Примерно в то же время, когда бедный юноша корит себя, словно за страшное преступление, за трату четырех флоринов, умирает одна из его кузин, перед тем успевшая овдоветь, оставив сиротами троих детей. Занд тотчас же спешит утешить бедных малюток, умоляет мать взять на попечение самого младшего и, обрадованный ответом, так благодарит ее:

«За ту огромную радость, какую Вы доставили мне своим письмом, за любящий голос Вашего сердца, который в нем я услышал, будьте благословенны, матушка! Как я должен был надеяться и в чем имел даже твердую уверенность, Вы взяли маленького Юлиуса, и это вновь преисполняет меня глубочайшей признательностью к Вам и тем сильней, что в своей всегдашней уверенности в Вашей доброте я дал нашей добрейшей кузине, еще когда она была жива, обещание, что Вы после ее смерти расщедитесь с нею за меня».

В начале марта Занд не то чтобы заболел, но почувствовал недомогание, которое заставило его поехать принимать воды; его мать в это время находилась на железодельном заводе в Редвице, расположенном в трех-четыре лье от Вонзиделя, где как раз и находились воды. Занд поселился на заводе у матери, и хотя намеревался не прерывать трудов, ему приходилось тратить время на ванны, а кроме того, всевозможные приглашения, не говоря уже о прогулках, необходимых для поправки здоровья, нарушали размеренность жизни, к которой он привык, и порождали в нем угрызения совести. Вот что находим мы в его дневнике под датой 13 апреля:

«Жизнь без возвышенной цели, которой подчинены все мысли и поступки, пуста и ничтожна, доказательство тому сегодняшней мой день: я провел его с родными, и для меня это, без сомнения, огромное удовольствие. Но как я его провел? Я непрерывно ел, так что, когда вознамерился поработать, был уже ни к чему не способен. Исполненный вялости и безразличия, вечером я ходил по гостям и вернулся в том же расположении духа, в каком уходил».

Для верховых прогулок Занд брал рыжую лошадку, принадлежащую брату, и вот такое времяпровождение ему очень нравилось. Лошадка была куплена с огромным трудом, поскольку, как мы уже упо-

минали, семейство Зандов было небогато. Следующая запись, касающаяся этого животного, дает представление о простодушии Занда.
«19 апреля.

Сегодня я был счастлив на заводе и весьма трудолюбив рядом с матушкой. Вечером вернулся на лошадке домой. С позавчерашнего дня, когда она сделала неловкий прыжок и поранила себе ногу, она стала весьма строптивой и раздражительной, а по приезде отказалась есть. Сперва я подумал, что ей не нравится еда, и дал ей несколько кусочков сахара и несколько палочек корицы, которые она страшно любит; она попробовала их, но есть не стала. Кажется, бедное животное кроме раны на ноге страдает от какого-то внутреннего заболевания. Если, к несчастью, она охромеет или заболит, все, включая и родственников, сочтут, что это моя вина, хотя я старательно и заботливо ухаживал за ней. Господи, великий Боже, ты, который можешь все, отведи от меня эту беду и сделай так, чтобы она как можно скорей выздоровела. Но если ты решил иначе, если на меня должно обрушиться это новое несчастье, я постараюсь мужественно перенести его, приняв как искупление за какой-то грех. Впрочем, Господи, я и тут вручаю себя тебе, как вручаю свою душу и жизнь».

20 апреля он записывает:

«Лошадка чувствует себя хорошо, Бог помог мне».

Немецкие нравы так отличны от наших, и противоположности в одном и том же человеке по ту сторону Рейна сходятся настолько часто, что нам просто необходимы цитаты, которые мы тут приводим, чтобы дать нашим читателям верное представление об этом характере, смеси наивности и рассудительности, детскости и силы, унылости и энтузиазма, материальных мелочей и поэтических мыслей, который делает Занда непостижимым для нас. Но продолжим его портрет, поскольку на нем еще не хватает последних мазков.

По возвращении в Эрланген после полного выздоровления Занд впервые прочел «Фауста»; поначалу это произведение поразило его, и он счел было его проявлением извращенности гения, однако, дочитав до конца и вернувшись к первому впечатлению, он записывает:

«4 мая.

О, жестокая борьба человека и дьявола! Только сейчас я ощущаю, что Мефистофель живет и во мне, и ощущаю это с ужасом, Господи!

К одиннадцати вечера я закончил чтение этой трагедии и увидел, почувствовал дьявола в себе, так что, когда пробило полночь, я, плача, исполнясь отчаяния, сам себя испугался».

Постепенно Занд впадает в сильную меланхолию, вырвать из которой его может лишь желание усовершенствовать и сделать нравственной окружающих его студентов. Для всякого, кто знает университетскую жизнь, подобный труд покажется сверхчеловеческим. Однако Занд не падает духом и, если не может распространить свое влияние на всех, ему, по крайней мере, удастся сформировать вокруг себя большой кружок, состоящий из самых умных и самых лучших; однако среди этих апостольских трудов его охватывает непонятное желание умереть; ка-

жется, что ему вспоминается небо и он испытывает потребность вернуться туда; он сам называет это стремление «ностальгией души».

Любимыми его авторами являются Лессинг, Шиллер, Гердер и Гёте; в двадцатый раз перечитав двух последних, он записывает:

«Добро и зло соприкасаются: страдания юного Вертера и совращение Вайслингена — это почти та же самая история; но неважно, мы не должны судить, что в других есть добро и что зло, ибо это сделает Господь. Я только что долго обдумывал эту мысль и остаюсь в убеждении, что ни при каких обстоятельствах нельзя позволить себе искать дьявола в ближнем и что у нас нет права кого-либо осуждать; единственное существо, по отношению к которому мы получили власть судить и выносить приговор, — это мы сами; нам и с самими собой вполне хватает забот, трудов и огорчений».

И еще я сегодня ощутил глубокое желание вырваться из этого мира и вступить в мир высший, но желание это скорей от подавленности, чем от силы, скорей усталость, чем порыв».

1816 год для Занда проходит в благочестивых попечениях о своих товарищах, в постоянном исследовании самого себя и в непрекращающейся борьбе, которую он ведет с навязчивым желанием смерти; с каждым днем у него все больше сомнений в себе, и вот первого января 1817 года он записывает в дневнике такую молитву:

«Господи, наделивший меня, посылая на эту землю, свободой воли, даруй мне свою милость, дабы и в наступающем году я ни на миг не ослаблял это постоянное наблюдение за собой и постыдно не прекратил исследовать свою совесть, как я это и делал до сих пор. Дай мне сил, чтобы возрастало то внимание, с каким я обращаюсь к своей жизни, и уменьшалось то, какое я обращаю на жизнь других людей; укрепи мою волю, дабы она стала достаточно сильной, чтобы управлять плотскими желаниями и заблуждениями ума; дай мне благочестивую совесть, всецело преданную твоему Царствию Небесному, дабы я всегда принадлежал тебе, а ежели вдруг оступлюсь, чтобы вновь смог вернуться к тебе».

Занд имел все основания просить Бога, чтобы тот укрепил его в наступающем 1817 году, так как небо Германии, озаренное Лейпцигом и Ватерлоо, вновь затягивали тучи: на смену безмерному и всеобъемлющему деспотизму Наполеона пришел гнет мелких князьков, составляющих германский сейм. Низвергнув великана, народ достиг единственно того, что попал под власть карликов.

Тогда-то и начали создаваться по всей Германии тайные общества. В нескольких словах мы расскажем о них, потому что история, которую мы пишем, есть история не только отдельных людей, но и народов, и всякий раз, когда у нас будет появляться возможность, мы станем представлять на нашем крохотном полотне широкую панораму.

Тайные общества Германии, о которых мы столько слышали, ничего о них не зная, прежде чем разлиться, подобно полноводным рекам, имели, по всей видимости, своим истоком своеобразные ответвления клубов иллюминатов и франкмасонов, которые обратили на себя всеобщее внимание в конце XVIII в. В эпоху революции восемьдесят девятого года все эти философские, политические и религиозные секты с

энтузиазмом восприняли республиканскую пропаганду, и успехи наших первых генералов нередко приписывались тайным усилиям этих ответвлений.

Когда Бонапарт, который знал о них и, как поговаривают, даже был членом одного из таких обществ, сменил генеральский мундир на императорскую мантию, все эти секты, считавшие его отступником и предателем, не только объединились против него внутри страны, но и стали искать его врагов за границами ее, а поскольку они обращались к возвышенным и благородным страстям, то повсеместно находили отклик, и монархи, у которых была возможность воспользоваться плодами их деятельности, недолгое время поддерживали их. Между прочим, принц Людвиг Прусский¹ был великим магистром одной из лож.

Покушение Штапса, о котором мы уже упоминали, было одним из первых ударов грома этой грозы, но через день был подписан мир в Вене, и унижение Австрии завершило распад дряхлой Германской империи. Претерпевшие смертельный удар в 1806 году и преследуемые французской полицией, эти общества уже не могли организовываться публично и вынуждены были вербовать новых членов тайно.

В 1811 году в Берлине арестовали множество агентов этих обществ, но прусские власти по секретному приказу королевы Луизы покровительствовали им и, когда хотели, легко водили за нос французскую полицию.

После февраля 1813 года поражения французской армии возродили дух тайных обществ: стало очевидно, что их делу помогает Бог; студенчество по большей части с энтузиазмом присоединялось к ним; во множестве университетов студенты дружно и чуть ли не в полном составе поступали на военную службу, выбирая командирами своих ректоров и профессоров; героем этого движения стал поэт Кернер, погибший 18 октября в Лейпцигской битве.

Триумфом этого национального движения было двукратное вступление в Париж прусской армии, большую часть которой составляли добровольцы, но, когда стали известны договоры 1815 года и новая германская конституция, они произвели в Германии ужасающее впечатление; все эти молодые люди, воодушевленные своими монархами, поднялись во имя свободы, но вскоре поняли, что оказались всего лишь орудием европейского деспотизма, который воспользовался ими, чтобы укрепиться; они захотели потребовать исполнения данных обещаний, но политика господ Талейрана и Меттерниха угнетала их и, подавив, после первых же высказанных ими слов вынудила скрыть недовольство и надежды в университетах, которые, пользуясь особым уставом, легче могли избежать внимания ищек Священного союза; таким образом, при любых притеснениях, как бы ни велики они были, тайные общества все-таки продолжали существовать, сообщаясь между собой с помощью путешествующих студентов, которые, получив устное поручение, под предлогом сбора гербариев обходили всю Германию, рассеивая повсюду

¹ Людвиг Фердинанд (1772—1806) — племянник короля Фридриха II, прусский военачальник, участник войн против Франции.

пламенные и вселяющие надежду слова, каким всегда так жадно внимают народы, но которые так ужасают королей.

Мы уже знаем, что Занд, охваченный общим порывом, волонтером участвовал в кампании 1815 года, хотя ему было всего девятнадцать лет; по возвращении он, как и остальные, был обманут в своих лучезарных надеждах, и именно в этот период мы видим, как в его дневнике возникают мотивы мистицизма и печали, что, несомненно, уже отметили наши читатели. Вскоре он вступает в одно из обществ, именуемое «Тевтония» и, обретя в религии величайшую опору, пытается сделать заговорщиков достойными предпринятой ими цели; его морализаторские старания у некоторых имеют успех, но большинство отвергает их.

Тем не менее Занду удается образовать вокруг себя значительный круг пуритан числом от шестидесяти до восьмидесяти студентов, принадлежащих к секте «Буршеншафт», которая, невзирая на насмешки соперничающей секты «Ландсманшафт», следует своим политическим и религиозным путем; во главе ее становятся он сам и его друг по имени Дитмар, и хотя власть их не основывается на выборности, их влияние при принятии решений свидетельствует, что в сложившихся обстоятельствах сотоварищи непроизвольно подчиняются импульсам, которые эти двое считают необходимым внушать своим адептам. Собрания буршей происходят на невысоком холме неподалеку от Эрлангена, на вершине которого стоит старый замок; Занд и Дитмар называли его Рютли в память о том месте, где Вальтер Фюрст, Мельхталь и Штауфахер дали клятву освободить свой родной край¹; здесь студенты собирались якобы отдохнуть и постепенно, камень по камню выстроили на месте развалин новый дом, переходя попеременно от действия к символу и от символа к действию.

Союз этот, надо отметить, так широко распространился по всей Германии, что вызвал беспокойство не только у королей и князей Германской конфедерации, но и у европейских монархов. Франция посылала агентов, дабы они доносили о деятельности союза, Россия не жалела денег на подкуп; нередко причиной гонений на какого-нибудь профессора, ввергавших в отчаяние весь университет, являлась нота тюильрийского или санкт-петербургского кабинета.

В этой гуще событий Карл Занд, поручив себя заступничеству Бога, начал 1817 год в весьма, как мы видели, унылом настроении, которое было у него из-за отвращения не столько к самой жизни, сколько к ее проявлениям. 8 мая, терзаясь меланхолией, которую он пытался преодолеть и источником которой являлись обманутые политические надежды, он записал в дневнике:

«Все так же неспособен взяться серьезно за работу, и это ленивое настроение и ипохондрическое расположение духа, набрасывающее черную вуаль на все явления жизни, продолжается и усиливается, невзирая на нравственный импульс, который я вчера дал себе».

¹ Имеются в виду вожди движения швейцарских кантонов за освобождение от власти Габсбургов, завершившееся победоносным восстанием 1307 года.

Во время каникул, опасаясь материально стеснить родителей и увеличить их расходы, он не поехал к ним, а предпочел вместе с друзьями отправиться путешествовать пешком. Несомненно, путешествие это кроме увеселительных имело и определенную политическую цель. Но, как бы то ни было, в продолжение всей экскурсии Занд отмечает в дневнике лишь названия городов, через которые проходил. Впрочем, чтобы дать представление, до какой степени Занд слушался родителей, следует сказать, что он отправился в это путешествие, только получив на то позволение от матери.

Вернувшись, Занд, Дитмар и их друзья-бурши нашли свой Рютли разрушенным их противниками из «Ландсманшафта», а обломки его разбросанными. Занд воспринял это событие как пророческий знак и был страшно удручен.

«О Господи, — записывает он в дневнике, — мне кажется, что все вокруг меня плывет и кружится. Душа моя становится все мрачней и мрачней, нравственные силы не возрастают, а убывают; я тружусь, но ничего не могу достичь, иду к цели, но не могу к ней прийти, истощаю себя, но ничего великого не совершаю. Дни жизни утекают один за другим, заботы и тревоги растут, и я нигде не вижу той гавани, где может пристать корабль нашего святого германского дела. В конце концов мы все падем, и я сам уже колеблюсь. О Господи, Отец Небесный, охрани меня, спаси меня и проведи в ту страну, которую мы непрестанно отвергаем безразличием колеблющихся умов».

В ту же пору страшное событие потрясло Занда до глубины души: утонул его друг Дитмар.

Вот что Занд записал в дневнике утром того дня, когда это случилось.

«О Господи всемогущий, что же будет со мной? Вот уже четыре дня я пребываю в смятении, не могу заставить себя пристально взглянуть ни на прошлую свою жизнь, ни на будущую; дошло до того, что с 4 июня в дневнике нет ни одной записи. И все же, Господи, и в эти дни у меня были поводы славить тебя, но моя душа полна страха. Боже, не отвращайся от меня; чем больше преград, тем больше требуется сил».

А вечером к утренней записи он добавляет эти несколько слов:

«Скорбь, отчаяние и смерть друга, моего горячо любимого друга Дитмара».

В письме домой он рассказывает об этом трагическом событии:

«Вам известно, что, когда мои ближайшие друзья Ю. К. и Ц. уехали, я особенно сошелся с Дитмаром фон Ансбахом. Дитмар — истинный и достойный немец, евангелический христианин, наконец, человек! Ангельская душа, всегда устремленная к добру, светлая, благочестивая, готовая к действию. Он поселился в доме профессора Грюнлера в комнате напротив меня; мы сдружились, объединили наши усилия и, худо ли, хорошо ли, вместе переносили добрые и скверные повороты судьбы. В тот последний вечер весны, позанимавшись каждый у себя в комнате и вновь укрепившись в стремлении противостоять всем невзгодам жизни и достичь нашей цели, мы около семи часов пошли искупаться в Реднице. Темная грозовая туча появилась на небе, но в тот момент она была

еще только на горизонте. Э., присоединившийся к нам, предложил вернуться, но Дитмар отказался, сказав, что до канала рукой подать. Слава богу, что он позволил не мне произнести этот гибельный ответ. Мы продолжили наш путь, закат был великолепен. Он и сейчас еще стоит у меня перед глазами: темноты-лиловые тучи, окрашенные по краям золотом; я запомнил все подробности этого рокового вечера.

Дитмар первым вошел в воду: он единственный из нас умел плавать и потому шел впереди, чтобы мы видели глубину. Мы зашли по грудь, а ему вода уже была по шею, ведь он опережал нас, и тогда он сказал нам, чтобы дальше мы не шли, потому что дно уходит. После этого он поплыл, но, едва успел сделать несколько взмахов руками, как оказался там, где река разделяется на два рукава, крикнул и, желая встать на дно, исчез. Мы тотчас бросились на берег, надеясь оттуда успешней оказать ему помощь, но поблизости не нашлось ни шеста, ни веревки, а мы оба, как я уже упомянул, не умеем плавать. Тогда мы изо всех сил стали звать на помощь. В этот миг Дитмар вынырнул и в отчаянном усилии ухватился за ветку ивы, свисающую над водой, но она оказалась слишком хлипкой, чтобы удержать его, и наш друг вновь исчез, словно пораженный апоплексическим ударом. Вообразите себе, в каком состоянии были мы, его друзья, как мы склонялись над рекой, напряженным и безумным взглядом пытаясь проникнуть в глубину вод. О боже, боже, как мы только не сошли с ума!

Тем временем на наши крики сбегалось множество народа. В течение двух часов с лодок обшарили баграми дно и наконец вытащили его труп из глубины. Вчера мы торжественно перенесли его к месту вечно-го упокоения.

Итак, весна кончилась, и началось важное для моей жизни лето. Я приветствую его в настроении мрачном и меланхолическом, и вы видите меня не столько утешившимся, сколько укрепившимся в вере, и она дает мне уверенность, что благодаря жертве Христа я обрету моего друга на небе, с высоты которого он наполняет меня силой, дабы я мог перенести все испытания этой жизни, и сейчас я хочу только одного: знать, что вы совершенно не тревожитесь обо мне».

Эта трагедия отнюдь не объединила общей скорбью обе студенческие секты, а, напротив, лишь ожесточила ненависть, какую они питали друг к другу. Среди первых прибежавших на крики Занда и его друга был один из членов «Ландсманшафта», умевший к тому же плавать, но вместо того чтобы броситься спасать Дитмара, он воскликнул: «Слава богу, кажется, мы избавимся от одного из этих собак буршей!» Невзирая на такое проявление враждебности, которое, впрочем, могло быть личным и не иметь никакого отношения ко всему обществу, бурши пригласили своих противников принять участие в погребении Дитмара. Ответом им был грубый отказ и угроза помешать похоронам и надругаться над трупом. Тогда бурши предупредили власти, которые приняли меры; друзья же Дитмара сопровождали его тело, держа в руках шпаги. Видя эту спокойную, но решительную демонстрацию, члены «Ландсманшафта» не осмелились привести угрозу в исполнение и

ограничились тем, что осыпали похоронную процессию оскорблениями, насмешками и пением куплетов.

Занд записал в дневнике:

«Утрата Дитмара — величайшая потеря для всех, и особенно для меня: он отдавал мне избыток своей силы и жизни, сдерживал, подобно плотине, все, что было зыбкого и нерешительного в моем характере. Благодаря ему я научился не страшиться надвигающейся бури, обрел умение сражаться и готовность погибнуть».

Через несколько дней после похорон у Занда произошла из-за Дитмара ссора с давним другом, перешедшим от буршей в «Ландсманшафт»; во время погребения была замечена его неуместная веселость. На завтра была назначена дуэль, и в тот вечер Занд записывает в дневнике:

«Завтра я должен драться с П. Г. Господи, ты же знаешь, какими мы некогда были друзьями, хотя холодность его всегда внушала мне определенное недоверие; однако в нынешних обстоятельствах из-за его гнусного поведения чувства мои к нему переменялись от ласковой сочувственности к глубочайшей ненависти.

Господи, не отнимай своей десницы ни от него, ни от меня, ибо мы будем драться как мужчины, но суди нас по нашим делам и дай победу тому, кто прав. Если ты призовешь меня предстать перед твоим судом, знаю, я туда явлюсь, отягченный вечным проклятием, так что я рассчитываю не на себя, а лишь на заступничество Спасителя нашего Иисуса Христа.

Но что бы ни случилось, славься вовеки и будь благословен, Господи! Аминь.

Мои дорогие родители, братья и друзья, поручаю вас покровительству Господню».

На следующий день Занд напрасно прождал два часа: противник не явился.

Впрочем, утрата Дитмара отнюдь не произвела на Занда того воздействия, какого можно было бы ожидать и какое, похоже, он сам себе предсказывал, судя по охватившей его скорби. Лишившись сильного духом друга, на которого он мог положиться, Занд понял, что обязан, удвоив энергию, сделать все, чтобы гибель Дитмара оказалась как можно менее катастрофической для их партии. Теперь он один ведет дела союза, которыми они занимались вдвоем, и конспиративная патриотическая деятельность не замирает ни на миг.

Наступили каникулы, и Занд покидает Эрланген, чтобы более уже не вернуться туда. Из Вонзиделя он поедет в Йену продолжать теологическое образование. Несколько дней он проводит со своими родными и отмечает эти дни в дневнике как счастливые, а затем расстается с ними и приезжает в Йену незадолго до вартбургского праздника.

Праздник этот, установленный в честь годовщины Лейпцигской битвы, стал торжеством для всей Германии, и хотя монархи знали, что Вартбург является центром, где ежегодно производится прием новых членов в тайные общества, запретить праздник не решились. Союз «Тевтония», представленный более чем двумя тысячами делегатов из разных университетов Германии, занимал важное место на празднике

того года. Это был для Занда радостный день: среди новых друзей он встретил и множество старых.

Тем не менее правительство, не решаясь атаковать студенческие общества в открытую, повело под них подкоп. Г-н фон Штаурен опубликовал чудовищную статью против них, написанную, как поговаривали, на основе сведений, которые представил Коцебу¹. Эта статья произвела большой шум не только в Йене, но и по всей Германии. То был первый удар, нанесенный свободе студентов. Вот какой след этого события мы обнаруживаем в дневнике Занда:

«24 ноября.

Сегодня часов около четырех после усердных и прилежных занятий я вышел вместе с Э. Проходя по Рыночной площади, мы услышали, как читают новую отравленную клевету Коцебу. Сколько же злобы у этого человека к буршам и ко всем, кто любит Германию!»

Это первое, да еще в таких выражениях, упоминание в дневнике фамилии человека, которого Занд через полтора года убьет.

Вечером двадцать девятого Занд запишет:

«Завтра я с отвагой и радостью совершу паломничество в Вонзидель, где встречу великодушную матушку и нежную сестру Юлию, охлаждаю голову и согрею душу. Возможно, попаду на свадьбу моего славного Фрица и Луизы и побываю на крестинах первенца дорогого моего Дурхмита. Господи, отец мой небесный, ты всегда был со мной на дороге скорби, не оставь же меня и на дороге радости».

Эта поездка действительно была радостной для Занда. После смерти Дитмара у него прекратились приступы ипохондрии. Пока Дитмар был жив, он мог умереть, но теперь, когда Дитмар умер, он должен жить.

11 декабря Занд уезжает из Вонзиделя и возвращается в Йену, а 31-го того же месяца записывает в дневнике следующую молитву:

«О милосердный Боже, этот год я начал с молитвой, а последнее время был рассеян и в плохом настроении. Оглядываясь назад, я вижу, увы, что не стал лучше, но я иду все дальше по жизни, и теперь чувствую, что у меня есть силы действовать, когда предоставится случай.

Ты всегда был со мною, Господи, даже тогда, когда я был не с тобой».

Если наши читатели достаточно внимательно читали отрывки из дневника, которые мы тут приводим, они должны заметить, как мало-помалу укрепляется решимость Занда, а мысли его становятся все более экзальтированными. С начала 1818 года ощущается, как его взгляд, долго остававшийся робким и блуждающим, охватывает все более широкий горизонт и устремляется ко все более возвышенной цели. Теперь предметом его устремлений становится не простая жизнь пастора, не крохотное влияние, какое он будет иметь в маленьком приходе, что во времена его скромной юности казалось ему вер-

¹ Коцебу, Аугуст Фридрих (1761—1819) — немецкий писатель и драматург, крайний реакционер и агент Священного союза.

шиной счастья и блаженства, но родина, но немецкий народ и даже все человечество, которое объемлют его гигантские планы политического возрождения. И вот на чистом обороте обложки дневника за 1818 год он пишет:

«Господи, помоги мне укрепиться в замысле освобождения человечества святой жертвой твоего Сына. Сделай так, чтобы я стал Христом для Германии и чтобы, как Иисус и через него, стал сильным и терпеливым в страдании».

А тем временем антиреспубликанские брошюры Коцебу все выходили и выходили и начали оказывать губительное влияние на умы правителей. Почти все, на кого Коцебу нападал в памфлетах, были известны и почитаемы в Йене; можно представить, какое воздействие оказывали все эти оскорбления на юные головы и благородные сердца, в убежденности доходившие до ослепления, а в энтузиазме до фанатизма.

И вот что 5 мая Занд записывает в дневнике:

«Господи, ну почему же эта унылая тревога опять овладевает мной? Но сильная и постоянная воля все преодолевает, и идея отчизны придает самым печальным и самым слабым радость и отвагу. Когда я задумываюсь над этим, то всякий раз удивляюсь, почему среди нас не нашелся хотя бы один мужественный человек и не перерезал глотку Коцебу или любому другому предателю».

Захваченный этой мыслью, 18 мая он продолжает:

«Человек — ничто в сравнении с народом, все равно как единица в сравнении с миллиардом, минута в сравнении с веком. Человек, которому ничто не предшествует и за которым ничто не следует, родится, живет и умирает, и все это объемлет более или менее продолжительный промежуток времени, но соответственно с вечностью этот промежуток короче вспышки молнии. Народ же, напротив, бессмертен».

Тем не менее, несмотря на мысли о политической неизбежности кровавой расправы, в нем иногда возрождается добрый и жизнерадостный юноша.

24 июня он пишет матери:

«Я получил Ваше прекрасное и пространное письмо, к которому были приложены посланные вами вещи, так щедро и великолепно подобранные. При взгляде на превосходное белье я радовался, как когда-то в детстве. Еще одно Ваше благодеяние! Пусть же исполнятся мои молитвы, а я никогда не устану благодарить Вас и Бога. Я получил сразу и сорочки, и две пары чудесных простыней, все, сделанное Вашими руками и руками Каролины и Юлии, лакомства и сласти; нет, я не запрыгал от радости, открыв присланный Вами пакет, но зато трижды повернулся на каблуке. Примите мою сердечную благодарность и разделите как дарительница радость получившего подарок».

Сегодня тем не менее важный день, последний день той весны, в которую исполняется год, как я потерял моего благородного и доброго Дитмара. Меня раздражают самые разнообразные и смутные чувства, но

лишь две страсти во мне незаблему, подобно бронзовым столпам, что держат хаос: мысль о Боге и любовь к Родине».

Все это время жизнь Занда внешне выглядит спокойной и размеренной, внутренняя буря утихла, он радуется своему усердию в занятиях и жизнерадостному настроению. И все же время от времени он сокрушается из-за своей склонности к лакомствам, которую никак не может преодолеть. И тогда, исполненный презрения к себе, он честит себя смоковым или пирожным брюхом.

Но при всем при том его религиозная и политическая экзальтация не ослабевает. Вместе с друзьями он совершает пропагандистскую поездку в Лейпциг, Виттенберг и Берлин и по пути посещает все поля сражений, расположенные поблизости от дороги. 18 октября Занд возвращается в Йену и принимается за учение с еще большим прилежанием, чем когда бы то ни было. Конец 1818 года заполнен напряженными занятиями в университете, и можно было бы усомниться, что он принял чудовищное решение, если бы не запись в дневнике от 31 декабря:

«Этот последний день 1818 года я завершил в серьезном и торжественном настроении и решил, что только что прошедшие рождественские праздники будут для меня последним Рождеством, которое я отметил. Чтобы из наших усилий что-то получилось, чтобы дело человечества одержало верх в нашей стране, чтобы в эту эпоху безверия смогли возродиться и утвердиться высокие чувства, необходимо одно условие: мерзавец, предатель, совратитель молодежи подлый Коцебу должен быть повергнут! Я совершенно в том убежден и не успокоюсь, пока не совершу это. Господи, ты знаешь, что я посвятил жизнь великому делу, и ныне лишь оно одно в моих мыслях, и потому молю тебя: даруй мне подлинную стойкость и душевное мужество».

На этом дневник Занда завершается: он завел его, чтобы укрепиться, достиг своей цели, и теперь не испытывает в нем потребности. Теперь он занят лишь этой идеей, продолжает неторопливо вынашивать план, мысленно осваивая его исполнение. Для всех он остался прежним, и лишь спустя известное время в нем заметили поразительную, ровную безмятежность, которой сопутствовало зримое и радостное возвращение к жизни. Он несколько не изменил ни распорядок, ни продолжительность занятий и лишь весьма прилежно стал посещать курс анатомии. Однажды заметили, как он куда внимательней, чем обыкновенно, слушал лекцию, в которой профессор объяснял различные функции сердца; Занд тщательнейше определял место, где оно в точности расположено, по два, а то и по три раза просил повторять некоторые демонстрации, выйдя же из класса, принялся расспрашивать студентов, изучающих курс медицины, действительно ли этот орган настолько чувствителен и уязвим, что достаточно нанести в него один-единственный удар, чтобы наступила смерть; причем проделывал он это с таким спокойствием и полнейшим равнодушием, что ни у кого не возникло ни малейших подозрений.

ВДОВА КОНСТАНТЕН

Прежде чем приступить к рассказу, мы считаем своим долгом предупредить читателя, что не следует придавать излишнего значения имени, вынесенному в заглавие настоящей повести. Мария Леру, вдова Жака Константена, и ее сообщник Клод Перго мало известны в летописи великих преступлений. Хотя злодеяния их бесспорны, в анналах юриспруденции о них почти нет упоминаний. И если мы выводим их на сцену в момент, когда на них вот-вот обрушится возмездие, то лишь вот почему: преступления их столь отвратительны и с таким трудом поддаются раскрытию, что о подобных вещах просто немислимо рассказывать во всех подробностях. И, признавая, что развязка предлагаемой читателям довольно-таки куцей истории наступает слишком быстро и противоречит всем законам жанра, мы все же надеемся, что любой порядочный человек будет нам только признателен за то, что, не вдаваясь в излишние детали, мы решились столь явно нарушить пропорции повествования. Несмотря на эту изначальную ущербность сюжета, вполне очевидную для любого уважающего себя писателя, мы решили извлечь из небытия эти мрачные забытые имена, поскольку ни один другой факт, по нашему мнению, не отражает в такой степени отвратительные нравы и глубокую развращенность, поразившие все сословия по окончании вызванных Фрондой беспорядков и явившиеся достойными предшественниками адюльтера и прочих гнусностей, которыми славилось царствование великого короля.

После такой исповеди мы без лишних преамбул введем читателя в кабачок на улице Сент-Андре-дез-Ар.

Дело было в ноябре 1658 года около семи вечера. В гнусной и продымленной комнате сидели за столом трое дворян; они уже прикончили не одну бутылку, и в их разгоряченных винными парами головах явно родился некий экстравагантный план, как свидетельствовал о том их безудержный хохот.

— Черт подери, — воскликнул один, когда миновал первый приступ этого шумного веселья, — нужно признать, что это будет замечательная шутка.

— Чудесная! И если пожелаешь, де Жар, мы прямо сегодня вечером ее и проделаем.

— Договорились, мессир Жанен, если, конечно, это не особенно шокирует моего прекрасного племянника, — добавил командор¹ де Жар, потрепав по щеке сидящего подле него юношу.

— Ах да, де Жар, — откликнулся королевский казначей Жанен, — я кое о чем вспомнил. Несколько месяцев ты повсюду появляешься с этим малышом шевалье де Моранжем, который следует за тобой подобно тени. Но ты и словом не обмолвился об этом своем племяннике. Откуда, черт возьми, он взялся?

Командор коленом толкнул под столом шевалье. А тот, дабы уклониться от ответа, налил себе вина и медленно осушил бокал.

— Слушай, — продолжал Жанен, — хочешь, я буду с тобой откровенен, как с самим Господом Богом, коли ему вздумается поинтересоваться моими прегрешениями? Я не верю ни единому твоему слову. Племянник — это либо сын брата, либо сын сестры, других племянников не бывает. Твоя же сестрица — аббатиса, а брат умер бездетным. И я не вижу иных способов установить его генеалогию, кроме как признать, что в этом деле замешана любовь, и либо твой брат где-то на стороне посеял сорную траву, либо госпожа аббатиса...

— Попрошу без клеветы, сударь!

— Ну так объяснись! И не надейся меня провести. Пусть меня удавят при выходе из этого кабачка, если я не вырву у тебя разгадку этой тайны! Друзья мы или нет? Ты вполне можешь доверить мне все, что скрываешь от других. Как! Мой кошелек и моя шпага всегда к твоим услугам, а ты при этом напускаешь на себя таинственность! Так не годится; говори, или нашей дружбе — конец. И предупреждаю: уж если я взял след, меня с него так легко не собьешь. А что, если, докопавшись таки до правды, я сделаю твой секрет достоянием двора, да и вообще всего города? Словом, тебе куда выгоднее шепнуть мне на ушко, в чем тут дело, и навсегда похоронить все толки.

— Экий ты дотошный, мой дорогой, — молвил де Жар, опершись локтем на столешницу и подкручивая кончики усов. — А если бы я вздумал наколоть этот секрет на острие кинжала, ужели ты не поостерегся бы оцарапать пальчики?

— Я? — отозвался казначей с другого края стола, передразнивая позу и движения командора. — Я? Врачи всегда уверяли, что я страдаю от избытка крови, и небольшое кровопускание пошло бы мне только на пользу. Я-то в любом случае внакладе не останусь, а ты можешь лишиться всего: судя по твоей желтой физиономии, кровопускание вряд ли будет тебе во благо.

— И ты на это решишься? Ты готов рискнуть дуэлью, если я попытаюсь воспрепятствовать тебе докапываться, в чем тут дело?

— Да, клянусь честью. Каково же будет твоё решение?

— Мой прекрасный мальчик, — обратился де Жар к шевалье, — мы попались, и придется сдаться на милость победителя. Я хорошо знаю этого толстяка: он до крайности упрям. Однако даже самого упрямого

¹ Имеется в виду командор Мальтийского ордена, полусветской-полумонашеской организации, в которую во Франции обычно вступали младшие сыновья знатных семейств.

осла можно сдвинуть с места — достаточно хорошенько дернуть за хвост. А если в упрямую башку Жанена запала какая-нибудь мысль — неважно, дурная она или хорошая, — то всем легионам ада не выбить ее оттуда. Мало того, он бравый вояка. Так что на все соглашаться — вот лучшее, что нам остается.

— Поступайте по своему разумению, — отвечал юноша. — Вам известна моя тайна, и вы прекрасно знаете, как важно, чтобы ее не раскрыли.

— Наряду с пороками у Жанена есть некоторые достоинства, и перво-наперво он не болтун, что в какой-то мере уравнивает его любопытство. Через четверть часа он скорее даст себя убить, чем что-нибудь разболтает, подобно тому, как сейчас готов рискнуть собственной шкурой, лишь бы узнать, что стараются от него скрыть.

Жанен покивал в знак согласия, вновь налил всем вина и, с торжествующим видом поднося к губам бокал, воскликнул:

— Я весь внимание, командор!

— Ну что же, прежде всего знай, что мой племянник — не мой племянник.

— Дальше.

— И что де Моранж — имя вымышленное.

— Дальше.

— Но я не скажу его настоящего имени.

— Почему?

— Потому что я его не знаю, и сам шевалье знает об этом не больше меня.

— Что ты городишь?

— Вот как обстоит дело: несколько месяцев назад шевалье прибыл в Париж с рекомендательным письмом от одного немца, которого я знал много лет назад. Он просил оказать юноше протекцию, помочь в поисках и хлопотах. Как ты выразился, здесь действительно не обошлось без любви, и отец пребывает пока в неизвестности. Так что молодой человек, который хочет не худшим образом выглядеть в свете и которому тот, кто дал ему жизнь, сгодится хотя бы на то, чтобы оплачивать долги, кои он намерен сделать, прибыл сюда, располагая некоторыми сведениями, каковыми мы и стремимся воспользоваться. Наконец, чтобы доказать, что мы действительно принуждены действовать с величайшей осторожностью и осмотрительностью, я готов сообщить, что мы, похоже, напали на след и что речь идет ни много ни мало как о князе церкви. Но если наш умысел обнаружится слишком рано, то все пропало, сам понимаешь. Словом, не болтай.

— Не беспокойся, — молвил Жанен. — В час добрый, вот что значит вести себя, как подобает другу. Желая вам удачи, любезный шевалье де Моранж, и ежели вы нуждаетесь в деньгах, пока не отыскался ваш отец, не стесняйтесь: казна к вашим услугам. Черт подери! Де Жар, ты прямо в сорочке родился — в таких чудесных приключениях тебе просто нет равных! Ведь это дельце обещает немало пикантнейших интриг, скандальных разоблачений, и к тому же обращаешься за помощью — к тебе! Везет же тебе, плут ты этакий! Всего несколько месяцев назад на тебя свалилось премиленькое наследство, некая влюбленная красотка бежит ради тебя и с тобой из монастыря де ла Рокетт. Но ты

никому ее не показываешь — то ли ревнуешь, то ли она уродлива и стара, как этот сморщенный мошенник Мазарини.

— На это есть свои причины, — улыбаясь, отвечал де Жар. — У меня немало резонов так поступать. Похищение наделало шуму, а святоши шутить не станут. И вовсе я не ревную: она же любит меня до беспамятства. Спроси моего племянника.

— Он с ней знаком?

— Мы не таим секретов друг от друга, у нас полное взаимное доверие. Уж поверь, красotka и в самом деле хороша и стоит любой из тех, что строят глазки, хоть при дворе, хоть на балконах королевской площади. Правда, Моранж?

— Я того же мнения, — отвечал юноша, выразительно поглядев на де Жара, — и постарайтесь, дядюшка, вести себя с ней как подобает, или я вас проучу.

— Ай-ай-ай! — вскричал Жанен. — Бедный де Жар, боюсь, ты пригрел змееныша у себя на груди. Берегись этого желторотого ветрогона. В самом деле, приятель, вы действительно в добрых отношениях с красotкой?

— Разумеется.

— И тебя это ничуть не тревожит, командор?

— Ничуть.

— И он прав. Я отвечаю за нее как за себя. Пока она будет любима и не охладет сама, ей будут верны и она сохранит верность. Или вы считаете, что женщина, сбегавшая с любимым человеком, так легко отречется от того, за кем последовала? Я хорошо ее знаю: мы с ней не раз и подолгу беседовали наедине. Она ветрена, безумно любит удовольствия, начисто лишена предрассудков, чужда глупой осторожности, которая держит на цепи других женщин. К тому же эта славная и преданная девица не склонна ни ко лжи, ни к хитростям, но при всем том весьма ревнива и вообще не из тех, кто даст пожертвовать собой ради серьезной соперницы. О, если ее обманут — то все предосторожности, все приличия пойдут прахом, и уж тогда!..

Командор быстро взглянул на него, толкнул коленом под столом и тем положил конец этому панегирику, которому казначей внимал, удивленно тараща глаза.

— Вот это пыл! — молвил он. — И что же тогда, любезный шевалье?

— Тогда, — продолжал юноша, усмехаясь, — если дядюшка поведет себя недостойно, я, его родной племянник, самолично возьмусь поправить дело. И ему не в чем будет меня упрекнуть. Но до тех пор он может не беспокоиться и прекрасно это знает.

— Да, именно так, и в доказательство я сегодня вечером возьму с собой Моранжа. Он молод, и чтобы пообтесаться, ему полезно посмотреть, как кавалер, обладающий некоторым опытом в любовных интригах, берется за дело, дабы посмеяться над кокеткой. Когда-нибудь этот урок ему пригодится.

— Черт! — воскликнул Жанен. — Я скорее уж поверю, что это дитя прекрасно обойдется без наставника. Но, в конце концов, дело твое, меня это не касается. Вернемся же к нашему разговору. Так что, мы договорились и оплатим красotке ее же монетой?

- Если хочешь.
— Того мне и нужно. Может статься, это будет весьма забавно. Вы в курсе дела, Моранж?
— Кто пойдет первым?
Де Жар грохнул по столу рукояткой кинжала.
— Вина вашим милостям? — осведомился вошедший трактирщик.
— Нет. Кости, да побыстрее.
— По три броска на каждого, — объявил Жанен. — Начинай.
— Играю за себя и за племянника.
Кости покатались по столу.
— Одно и три.
— Теперь моя очередь: шесть и пять.
— Давай. Пять и два.
— Квиты. Четыре и два.
— Посмотрим. Шесть и пусто.
— Двойная шестерка.
— Тебе выбирать.
— Ну я пошел, — сказал Жанен, поднимаясь из-за стола и закутываясь в плащ. — Уже половина восьмого, а в восемь я вернусь. Я не прощаюсь.
— Ни пуха ни пера.

Жанен вышел из трактира и направился в сторону реки по улице Паве.

В 1658 году на углу улицы Жи-ле-Кер и Юрпуа (последняя находилась как раз там, где теперь выстроена набережная Августинцев до самого моста Сен-Мишель) еще стоял особняк, который Франциск I некогда купил и отделал для герцогини д'Этамп¹. Он не то чтобы совсем обветшал, но время уже оставило на нем свой след. Убранство утратило былую роскошь и блеск, превратившись в подлинные реликвии былых времен. Капризная мода избрала своей резиденцией квартал Маре, что на королевской площади, где вокруг галантных дам и знаменитых красавиц толпился гудящий рой поклонников — старых развратников и юных распутников. Но ни одна из них не пожелала бы жить в том же квартале и тем более в том же жилище, что и бывшая королевская наложница: это сочли бы или неприличным, или равноценным признанию, что краса такой девицы уже отцветает. В старом особняке квартировало теперь несколько жильцов. Как провинции империи Александра Великого после его смерти, просторные покои были поделены, и упадок старинного особняка был так глубок, что буржуазия безнаказанно чванилась и пыжилась там, где некогда процветала самая элегантная и горделивая знать королевства. Там и жила в уединении и небрежении, сменившим бывшее великолепие, Анжелика Луиза де Герши, которая еще недавно была подругой м-ль де Пон и фрейлиной Анны Австрийской². Ее любовные похождения и скандалы, связанные с ними, послужили причиной ее удаления от двора, но не потому, что она грешила больше

¹ Этамп, Анна де Писле, герцогиня д' (1508 — после 1575) — фаворитка короля Франциска I.

² Анна Австрийская (1602—1666) — супруга Людовика XIII и регентша Франции при малолетнем Людовике XIV.

других, — просто ей не везло или же недоставало ловкости. Любовники беспрестанно компрометировали ее самым недостойным образом. А при дворе, где кардинал был любовником королевы, не могло не воцариться лицемерие. И Анжелика была подвергнута опале в наказание за то, что не умела скрывать свои грехи. К несчастью для нее, благосостояние ее зависело от успеха у мужчин и точно соответствовало числу ее обожателей, равно как состоянию их кошельков. Собрав осколки былой роскоши, она продала часть самых богатых своих нарядов и уборов и, завистливо наблюдая за отринувшим ее блестящим светом, принялась ждать лучших времен. Нельзя сказать, что для нее была утрачена всякая надежда. Существует особая закономерность, которая отнюдь не свидетельствует в пользу человеческой природы: порок всегда имеет больше шансов преуспеть, нежели добродетель, и самая что ни на есть ославленная и опозоренная куртизанка непременно найдет простофилю, готового клятвенно засвидетельствовать ее давно несуществующую честь и истрепавшуюся порядочность. Тот, кто усомнится в порядочности порядочной женщины, кто не простит ей ни единой слабости, даже если ее поведение всегда было примерным, — тот наклонится и подберет из сточной канавы прогнившую и истрепанную репутацию, будет ее защищать и оберегать от любых сарказмов и всю жизнь свою истратит на то, чтобы придать некоторый блеск этой опоганенной вещице, на которой остались следы стольких рук. В дни былых побед за м-ль де Герши вовсю увивался и командор де Жар, и королевский казначей, и ни одному, ни другому не пришлось подолгу вздыхать и попусту томиться. Но как ни стремительна была их победа, после которой им уже нечего было желать, оба они успели обнаружить, что, хотя красотка жертвовала де Жаром ради королевских дублонов, привлекательность командора весьма успешно боролась с несомненными достоинствами казначея. Однако для обоих это было лишь мимолетное увлечение, а отнюдь не серьезное чувство, и это открытие не повлекло за собой никаких раздоров: без лишних жалоб оба они убралась восвояси, решив, однако, отомстить за себя, едва представится возможность. Иные дела подобного рода отвлекли их от этого похвального замысла. Жанен связался с менее доступной красавицей, уступившей его притязаниям лишь в обмен на тридцать тысяч экю с выплатой вперед, а де Жар вот уже несколько месяцев был полностью поглощен своими любовными приключениями с пансионеркой монастыря де ла Рокетт и демаршами, предпринимаемыми совместно с юным незнакомцем, которого он выдавал за племянника. М-ль де Герши потеряла из виду и одного, и другого и, по правде говоря, думать о них забыла. Она старалась пленить некоего герцога де Витри, которого не было при дворе, когда случился скандал, послуживший причиной ее изгнания. Этому ветренику было тогда лет двадцать пять — двадцать шесть, он был отважен, как боевой меч, доверчив, как старый развратник, готов обнажить шпагу против любого наглого клеветника, осмелившегося усомниться в добродетели красавицы, и пропускал мимо ушей любые порочащие ее слухи — словом, это был один из тех мужчин, самой природой предназначенных утешать грешниц, о которых в наши дни может лишь мечтать вышедшая на пенсию танцовщица оперы или львица в отставке. Единственное, чего ему не хватало, — это

свободы от брачных уз. У герцога была супруга, которой он пренебрегал, по обычаю той эпохи, и которая, вероятно, не придавала особого значения его изменам. Но это было непреодолимое препятствие, не будь которого м-ль де Герши могла бы надеяться стать в один прекрасный день герцогиней. Однако вот уже три недели, как воздыхатель не появлялся у нее и не давал о себе знать. Он отправился в поездку в Нормандию, где у него были обширные владения, и отсутствовал гораздо дольше, чем предполагал, так что это уже становилось тревожным. Что могло его задержать? Скорее всего новый каприз. У м-ль де Герши были весьма серьезные основания для опасений, поскольку до этих самых пор ее отношения с герцогом ограничивались многозначительными взглядами да сладкими речами. Герцог предлагал все, что только мог, Анжелика все отвергала. Слишком быстрая победа придавала бы достоверность порочащим ее слухам, и, усвоив некоторый опыт, она не хотела впредь ставить под удар свое будущее, подобно тому, как загубила прошлое. Но изображая добродетель, приходилось также изображать бескорыстие, а ее денежные средства подходили к концу. Она рассчитала свою неприступность исходя из оставшейся суммы денег: этот отъезд и столь долгое отсутствие подорвали как ее благоразумие, так и доход. Таким образом, влюбленный герцог весьма рисковал остаться в дураках, когда де Жар и Жанен решили заняться красоткой. Она предавалась самым серьезным размышлениям, совершенно искренне обдумывая вопрос, от чего же зависит женская добродетель, как вдруг услышала шум голосов из соседней комнаты. Дверь отворилась, и вошел казначей.

Поскольку и эта встреча, и все последующие не могли обойтись без свидетелей, нам придется просить читателя последовать за нами в другое крыло особняка.

Мы уже говорили, что в старом доме нашли приют несколько жильцов. В квартире, примыкавшей к покоям м-ль де Герши, поселилась вдова бывшего купца по имени Рапалли, владевшего несколькими дюжинами домов по обе стороны моста Сен-Мишель, перестроенного в 1616 году на средства горожан в обмен на право вечного владения этими домами. Вдова Рапалли уверяла, что ей сорок, те, кто ее хорошо знал, прибавлял ей еще добрый десяток лет, но чтобы не ошибиться, мы остановимся на цифре посредине. Это была невысокая крепкая женщина, скорее полноватая, чем изящная; черноволосая, смуглая, с глазами навывкате, живая и подвижная, она становилась безгранично требовательной, коль скоро вы хоть раз подчинялись ее воле, но покамест являла собой образец мягкости и покладистости и полностью подчинялась капризам некоего мужчины, покоровшего ее сердце. В разыгрываемой здесь комедии роли распределялись совсем иначе: вдова была влюблена подобно его светлости герцогу де Витри, а предмет ее страсти был ничуть не искреннее в своей влюбленности, нежели бывшая королевская фрейлина. Вдова осчастливила страстью некоего мэтра Кенбера, нотариуса из Сен-Дени. Этот славный законник был еще молод и хорош собой, но дела его шли неважно, и он притворялся, что не понимает авансов, на которые вдова отнюдь не скупилась: он выказывал ей то почтение и уважение, без которых г-жа Рапалли прекрасно обошлась бы и которые порой вселяли в нее сомнения относительно истинной приро-

ды его чувств. Но жаловаться было никак нельзя, и ей приходилось покорно принимать эту надоевшую и даже сердившую ее почтительность. Мэтр Кенбер, будучи человеком рассудительным и к тому же весьма опытным, задумал одно дело, осуществлению коего мешало не зависящее от его воли препятствие. Ему нужно было выиграть время, и он знал, что полностью утратит свободу в тот самый день, когда даст пылкой вдове хоть какие-то права на себя. Влюбленный охладевает, если его притязания отстраняются с излишней строгостью. Но женщина, которая только и может, что отвечать «да» или «нет», вынуждена запастись изрядным терпением. У мэтра Кенбера был лишь один повод для беспокойства: дальний родственник покойного супруга вдовы, который проявлял куда больше пыла, чем наш законник. Но положение последнего было таково, что он не мог вести себя иначе. Чтобы наверняка оттеснить соперника на второй план, восполняя упущенное время, он не скупился на пышные фразы и ублажал вдову самой напыщенной лестью, хотя в конечном итоге мог и не стараться — он и без того был любим, и за один лишь нежный взгляд ему простили бы и большие прегрешения.

За час до появления казначея в дверь особняка постучали, и мэтр Кенбер, завитой, напомаженный, с торжествующим видом предстал перед вдовой. Напустив на себя еще большую томность, нежели обычно, она, казалось, готовилась обстрелять его столь недвусмысленно призывными взглядами, что, дабы избежать подобной гибели, он притворился глубоко опечаленным. Вдова испугалась этой меланхолии и поспешно осведомилась:

— Что это с вами сегодня?

Кенбер встал; враг был повержен, он же, вновь обретая свободу маневра, мог по своему усмотрению и двигаться вперед, и отступать.

— Со мной? — отозвался он с глубоким вздохом. — Я мог бы вас обмануть, придумать какое-нибудь объяснение моей печали, но я не вправе вам лгать. Да, я встревожен, измучен, и когда это кончится — Бог весть!

— Но в чем же, наконец, дело? — молвила вдова, также поднимаясь на ноги.

Мэтр Кенбер размашисто зашагал и мгновенно оказался на другом конце комнаты.

— Что вы хотите узнать? Помочь мне вы не в силах, о подобных делах между мужчиной и женщиной не может быть и речи.

— Какие такие дела? Это дело чести?

— Да.

— О господи! Вы будете драться? — вскричала она, кинувшись к нотариусу и стараясь ухватить его за руку. — Вы должны драться?

— Избави бог! — отвечал мэтр Кенбер, вновь меряя шагами комнату. — Но успокойтесь, речь идет об известной сумме денег, которую я ссудил несколько месяцев назад одному плуту, а тот с тех пор бесследно исчез. Это был вклад клиента, и его нужно вернуть ровно через три дня. Две тысячи ливров!

— Это немало: подобную сумму не так легко найти за столь короткое время.

— Придется обращаться к какому-нибудь еврею, который обдерет меня как липку. Но репутация превыше всего!

Г-жа Рапалли смотрела на него с ужасом. Мэтр Кенбер, словно отгадав ее мысли, прибавил после недолгого молчания:

— Правда, я уже набрал треть нужной суммы.

— Всего треть?

— Проверив все счета и исчерпав все кредиты, я, пожалуй, наберу ливров восемьсот, но будь я проклят на том свете и прослышу мошенником на этом — что для меня равнозначно, — если у меня есть хоть денье сверх того!

— А если бы кто-нибудь предложил вам недостающую сумму?

— Я с радостью принял бы ее, черт возьми! — воскликнул Кенбер, притворяясь, что даже не догадывается, кто будет его заимодавцем. — Вы хотите порекомендовать мне кого-нибудь, любезная госпожа Рапалли?

Кивнув головой, вдова метнула на него страстный взгляд.

— Назовите этого славного человека, и я пойду к нему завтра же утром. О, какую услугу вы мне оказываете! А я-то не хотел вам говорить, боялся огорчить! Скажите же, как его зовут.

— Разве вы сами не догадались?

— Откуда же я могу его знать?

— Ну как же, подумайте хорошенько, неужели не догадываетесь?

— Нет, — отвечал Кенбер, изображая величайшее простодушие.

— Разве у вас нет друзей?

— Разумеется, друзья у меня есть, хотя их и немного.

— Разве не будет им приятно оказать вам услугу?

— Возможно. Но я ни к кому из них не обращался.

— Ни к кому?

— Кроме вас.

— Так вот...

— Так вот?.. Боюсь, я неправильно вас понял, госпожа Рапалли. Но это невозможно. Нет, вы ведь не хотите меня унижить. Ну почему моя природная глупость мешает мне разобраться в этой загадке? Не томите же меня и назовите имя, которое я тщетно пытаюсь угадать.

Вдова, смущенная обидчивостью мэтра Кенбера, покраснела, потупилась и никак не могла осмелиться заговорить.

Нотариус не спускал с нее глаз и стал уже опасаться, что слишком ее напугал; ему показалось, что следует немедленно исправить допущенную неловкость.

— Вы молчите? — молвил он. — Значит, это была только шутка?

Тогда она решила и смущенно произнесла:

— Я говорила вполне серьезно, но вы так воспринимаете некоторые вещи, что поневоле оробеешь.

— Простите!

— Неужели вы думаете, что ваше теперешнее лицо располагает к откровенному разговору: брови насуплены, глаза сверкают, словно перед вами обидчик!

Нежная улыбка разгладила лицо Кенбера. Набравшись духу и пользуясь нежданной передышкой, г-жа Рапалли подошла к нему и взяла его за руку.

— Я, я дам вам эту сумму, — сказала она.

Немедля напустив на себя достойный и благородный вид, он мягко отстранил ее:

— Благодарю вас, сударыня, я не приму ее.

— Но почему?

Нотариус вновь принялся расхаживать по комнате. Вдова, стоявшая посреди нее, только успевала поворачиваться, следя за его движением. Такой манерный экзерсис длился несколько минут. Наконец Кенбер остановился.

— Я не сержусь на вас, госпожа Рапалли. Вы предложили мне это от чистого сердца, но говорю вам, я не могу принять ваше предложение.

— Послушайте, я вас не понимаю. Что вам мешает? В чем здесь недовольство?

— Хотя бы в том, что может показаться, будто я признался вам в своих затруднениях, рассчитывая на такой исход.

— А коли и так, что же здесь плохого? К любому другому человеку вы бы обратились безо всякого стеснения.

— Так значит, вы считаете, что я явился сюда с подобными намерениями?

— Господи, ничего я не считаю, если вам так хочется. Я сама вас спросила, сама заставила сказать и прекрасно это знаю. Но коли вы доверили мне свой секрет, разве можете вы мне помешать вас пожалеть, принять в вас участие? Разве, узнав о ваших затруднениях, я должна изображать веселость или хохотать как безумная? Неужели я вас оскорбляю, желая оказать услугу? Что за странная деликатность!

— Разве она вас удивляет с моей стороны?

— Послушайте, неужели вы и сейчас думаете, что я хочу вас обидеть? Я считаю вас порядочнейшим человеком на свете. И если кто-нибудь скажет мне: мэтр Кенбер поступил дурно, — я видел это своими глазами, то я отвечу: вы лжете. Разве этого вам мало?

— Но если по всему городу станут говорить: мэтр Кенбер принял деньги от госпожи Рапалли, разве это будет то же самое, как если бы говорили, что мэтр Кенбер занял тысячу двести ливров у купца Робера или еще у кого?

— Не вижу особой разницы.

— А я вижу, и немалую.

— В самом деле, это довольно трудно объяснить, но...

— Но вы явно придаете слишком большое значение и самой услуге, и благодарности за нее. По-моему, я угадала истинную причину отказа. Вам было бы стыдно принять такой подарок, не правда ли?

— Да.

— Я ничего не собираюсь вам дарить. Берите эти деньги взаймы. На какое время они вам нужны?

— По правде сказать, не знаю, когда я смогу их вам вернуть.

— Ну, скажем, на год, и подсчитаем проценты. Садитесь же, большое дитя, и пишите вексель.

Мэтр Кенбер пожеманился еще для приличия, но поддавшись на уговоры и настояния вдовы, в конце концов уступил. Нужно сказать, что его прекраснородные угрызания совести были всего лишь комедией. Он до крайности нуждался в этих деньгах, но не для того, чтобы возместить заем, взятый ветреным другом, а чтобы удовлетворить собственных кредиторов, уже терявших терпение и грозивших ему судом, и

явился он с одной лишь целью: воспользоваться щедростью и великодушием г-жи Рапалли. Его притворная стыдливость на деле была опасением оказаться обязанным ей сверх меры, и он подстроил дело так, что ему силой навязывали то, что он мечтал получить. Хитрость его полностью удалась, и новаявленная заимодавица ощутила прилив уважения к человеку, способному на столь благородные чувства. Долговое обязательство было составлено по всей форме, а деньги отсчитаны сию же минуту.

— Как я счастлива! — воскликнула вдова. Кенбер же, все еще разыгравшая смущение и стыдливость, искоса с вожделением поглядывал на набитый деньгами кошель, лежавший на столе рядом с его плащом. — А вам разве нужно возвращаться сегодня в Сен-Дени?

Нотариус поостерегся бы напрямую ответить утвердительно, даже если бы его намерение было именно таково. Однако предвидя упреки в неосторожности, предостережения об опасностях, грозящих ему по дороге домой, — в Париже действительно было беспокойно, — он полагал, что, постаравшись как следует напугать его, вдова предложит воспользоваться ее гостеприимством. А его никак не устраивало до бесконечности затянувшееся свидание.

— Нет, — отозвался он, — я должен ночевать сегодня у мэтра Терасона на улице Пуатвинцев, я уже дал знать, что приду, и он ждет меня. И хотя он живет в нескольких шагах отсюда, из-за этих денег мне придется покинуть вас раньше, чем хотелось бы.

— Но вы будете думать обо мне?

— Разве вы можете в этом сомневаться? — растроганно отвечал Кенбер. — Вы заставили меня принять ваше предложение, однако я вновь обрету счастье лишь после того, как верну вам эту сумму. Но вдруг мы поссоримся из-за этого?

— Ах, послушайте, если вы не уплатите в срок, я буду преследовать вас по закону.

— Надеюсь, что так.

— И воспользуюсь правами заимодавца.

— И будете правы.

— Я буду беспощадна.

Лукаво, как ей казалось, хихикнув, вдова погрозила ему пальчиком.

— Госпожа Рапалли, — молвил нотариус, мечтавший поскорее прекратить разговор из опасения, как бы он не принял нежелательный оборот, — госпожа Рапалли, не откажите мне в последней услуге.

— О чем вы?

— Если признательность притворна, то она ничего не стоит тому, кто прикидывается признательным. Но благодарность истинная, от чистого сердца, подобная той, какую испытываю я, — это тяжелое бремя, клянусь вам. Гораздо легче давать, нежели принимать. Обещайте же, что мы не станем возвращаться к этому событию целый год, начиная с сегодняшнего дня, и что мы будем и впредь жить в самом добром согласии, как жили до сих пор. Дайте мне возможность рассчитаться с вами, как подобает. Больше я ничего пока не скажу; но до тех пор — ни слова об этом.

— Я все исполню по вашему желанию, мэтр Кенбер, — согласилась г-жа Рапалли, прослезившись от тайной радости. — Я не думала налагать на вас никаких тягостных обязательств и полностью вас понимаю.

Можете себе представить, что теперь я почти готова поверить в предчувствия!

— Неужели вы становитесь суеверной? Но почему же?

— Как раз сегодня утром я отказалась от поистине золотого дельца.

— Надо же!

— Какое-то внутреннее чувство велело мне бороться с любыми искушениями и не расставаться с этими деньгами. Представьте, сегодня ко мне явилась с визитом знатная дама, проживающая в этом особняке, в квартире, примыкающей к моей.

— Как, вы говорите, ее зовут?

— Мадемуазель де Герши.

— И чего же она от вас хотела?

— Она пришла и предложила всего за четыреста ливров драгоценности, которые — я-то в этом разбираюсь — стоят все шестьсот. Она готова была также взять взаймы эту сумму под залог драгоценностей. Похоже, дела этой дамы идут не лучшим образом. Вам знакомо ее имя: де Герши?

— Кажется, я где-то уже слышал его.

— Говорят, ее приключения наделали немало шума; но вы ведь знаете, люди так лживы! С тех пор как она поселилась здесь, она живет весьма уединенно, к ней ходит лишь один знатный вельможа, герцог... Погодите-ка! Как бишь его? Герцог... герцог де Витри, да и тот уже три недели носу к ней не кажет. Ввиду его отсутствия и утреннего прихода дамы я заключила, что они поссорились и что у нее туго с деньгами.

— Похоже, вы много чего знаете об этой барышне.

— И правда, так оно и есть, хотя на самом деле я впервые разговаривала с нею только сегодня утром.

— Кто же вас так хорошо обо всем осведомил?

— Случай. Соседняя комната и та, в которой она живет, раньше были единым покоем. Его разделили оклеенной обоями перегородкой, но в двух местах доски от времени отошли, и оттуда, не опасаясь быть замеченным, можно видеть все, что происходит, через маленькие дырочки в обоях. Вы по природе любопытны?

— Не менее, чем вы, сударыня.

— Идемте же со мной. Только что кто-то постучал в двери особняка: в этот час пожаловать могут только к ней. Возможно, вернулся ее воздыхатель.

— Вот будет замечательно, если нам удастся присутствовать при сцене взаимных попреков или примирения!

Хотя ему не нужно было выходить из квартиры, мэтр Кенбер взял плащ, шляпу и благословенный кошель с деньгами и на цыпочках пошел вслед за г-жой Рапалли, которая в свою очередь шла крадучись, стараясь не шуметь. Им удалось без особого скрипа отворить дверь в спальню.

— Те! — шепнула вдова. — Слышите? Там разговаривают.

Она указала пальцем, куда ему следовало встать, чтобы наблюдать за происходящим в соседней комнате, а сама потихоньку отошла в другой угол. Кенбер, которому было отнюдь не желательно, чтобы она к нему подходила, знаком велел ей задуть свечи. Обезопасившись от ненужного сближения кромешной тьмой, которая не дала бы вдове сле-

лать и шагу, не наткнувшись на стоящую меж ними мебель, он прильнул к обоям. Дыра размером в человеческий глаз позволяла ему видеть все, что происходило у м-ль де Герши. Когда он изготовился подглядывать, казначей, по приглашению Анжелики, как раз усаживался в кресле, придвинув его к ней поближе, но все же на достаточно приличном расстоянии. Собеседники, равно смущенные и новой встречей, и предстоящим объяснением, помолчали. Бывшая фрейлина понятия не имела, что привело к ней бывшего любовника, а тот изображал подобающее случаю волнение. Мэтр Кенбер внимательно рассмотрел обоих, особенно Анжелику. Читатель, без сомнения, пожелает, чтобы мы поделились с ним наблюдениями нотариуса.

Анжелике Луизе де Герши было тогда лет двадцать восемь. Эта черноволосая женщина была довольно высока ростом и прекрасно сложена. Правда, придворная жизнь несколько повредила ее прелестям, лицо утратило свежесть, а от природы элегантные формы — изящество, но как раз такие женщины во все времена с легкостью соблазняют мужчин. Похоже, что, бросаясь в распутство, человек утрачивает даже понятие об истинной красоте: чтобы воспылать, ему только и нужно, что смелый взгляд да зазывная улыбка, и удовольствие он получает, лишь следуя стезей порока. В этом смысле м-ль де Герши была щедро наделена всевозможными достоинствами: не то чтобы выражение лица ее отличалось особым бесстыдством или в речах проскальзывали выражения, свидетельствующие о беспорядочном образе жизни, но под спокойной и величавой внешностью в ней таилось неуловимое скрытое очарование. На свете немало куда более красивых женщин, но ни одна из них не обладала подобной притягательной силой. Добавим, что витавшим вокруг нее чарам она была обязана почти исключительно своим физическим особенностям: ведь за исключением чисто профессиональных уловок она была женщиной весьма посредственного ума и не отличалась ни широтой, ни разнообразием интересов. Такой уж она уродилась, что непременно отвечала взаимностью на желания, которые сама же пробуждала, и оказывалась совершенно беззащитной перед любым настоятельным или достаточно ловким покушением на ее честь, так что герцогу де Витри нужно было действительно влюбиться до безумия, то есть оглохнуть, ослепнуть, одуреть и поглупеть, чтобы не найти уж раз двадцать повода сломить ее непреклонность. Выше мы рассказывали, каково было финансовое положение красавицы и как утром того же дня она пыталась поправить дела, продав кое-какие драгоценности.

Жанен первым прервал молчание.

— Мой визит, несомненно, удивил вас, прекрасная Анжелика. Простите ли вы мне этот неожиданный приход? Но я не хотел уезжать из Парижа, не повидав вас в последний раз.

— Спасибо, что не забыли, — отвечала она, — я и не ждала от вас такого.

— Значит, вы еще сердитесь на меня.

— Она окинула его полупрезрительным, полусердитым взглядом.

— Я понимаю, что мое поведение могло показаться вам необычным. Оставить дорогую тебе женщину — не решаюсь сказать: женщину, которую любишь, — добавил он, смущенно вздохнув, — покинуть

ее внезапно, без объяснений — это в самом деле странно, согласен. Но послушайте, Анжелика, я ревновал!

— Вы? — недоверчиво воскликнула она.

— Я боролся с собой и всегда тщательно скрывал от вас свои опасения. Сто раз собирался рассориться, разразиться упреками, но едва вас увидев, едва вами залюбовавшись, я забывал обо всем на свете ради своей любви! Все мои подозрения рассеивались при виде вашей улыбки, единое ваше слово меня успокаивало, и я был счастлив. Но стоило мне остаться одному, как меня вновь начинали терзать страхи, я так и видел соперников у ваших ног и вновь приходил в ярость. О, вы никогда не знали, как я вас любил!

Она выслушала его, не перебивая, и возможно, со своей стороны пришла к тому же заключению, что и мэтр Кенбер, который, как человек довольно опытный во лжи, сделал следующий вывод: «Этот человек не верит ни единому своему слову».

А казначей тем временем продолжал:

— Неужели и теперь, Анжелика, вы не верите моим словам?

— Хотите, месье Жанен, я буду с вами откровенна? Так вот, я вам не верю.

— О, несомненно, вы думаете, что светские развлечения вытравили из моей души всякую память о вас, что я утешился с другими красавицами, которые были не столь жестоки? Я никак не нарушал вашего уединения, не выслеживал вас, не следил за вашими действиями и поступками, не окружал вас невидимыми наблюдателями, которые, возможно, опять сказали бы мне: «Если она покинула оскорбивший ее свет, то не из уязвленной гордости, не из благородных побуждений, не из оскорбленного достоинства и не для того, чтобы наказать своим отсутствием тех, кто в ней ошибался, нет, она обрекла себя на одиночество, чтобы скрыть от чужих взглядов новую любовь!» Вот что не раз приходило мне в голову; и все же я почитал и уважал ваше стремление к уединению. И если сегодня вы скажете: «Я никого не люблю», — я вам поверю!

Жанен, не уступавший дородностью театральным финансистам¹, остановился, чтобы перевести дух, задохнувшись от этой бессмысленной тирады, в которой не было ничего, кроме набора общих слов. Он был недоволен собой и клял себя за отсутствие всякого воображения. Он хотел бы придумать несколько пышных и трескучих фраз, изобразить какой-нибудь патетический и естественный порыв, но ничего такого ему никак не приходило в голову. Он лишь смотрел на м-ль де Герши с такой трогательной грустью, что прямо сердце разрывалось. А та сидела не шелохнувшись, и лицо ее выражало одно лишь недоверие.

Ему пришлось вновь взять слово:

— Но вы не говорите того, о чем я вас прошу. Значит, это правда, значит, вы любите его!

Изумившись, она невольно отпрянула.

— Значит, при одном лишь упоминании о нем вы теряете свою убийственную холодность! Видно, мои былые подозрения были спра-

¹ Имеется в виду персонаж многих французских комедий — толстый богач-откупщик.

ведливы: вы обманывали меня с ним! Ах, ревность меня не обманула, толкнув порвать с этим человеком, отвергнуть продажную дружбу, которую он мне навязывал! Теперь он воротился в Париж, и я непременно его увижу! Да что я говорю — воротился! Он, наверное, только сделал вид, что уезжает, и, спрятавшись в этом уединенном доме, безнаказанно пренебрег и моим отчаянием, и моим мщением!

Если до этой минуты Анжелика вполне владела ситуацией, то теперь она ровно ничего не понимала в речах казначея. О ком он говорил? О герцоге де Витри? Так она и думала поначалу. Но герцог познакомился с ней всего несколько месяцев назад, уже после того, как ее отставили от двора. Значит, он просто не мог возбудить ревность бывшего любовника, и потом, что значат эти слова: «я отверг дружбу», «он воротился в Париж» и тому подобное? Жанен уловил ее замешательство и поздравил себя с удачной уловкой, которая так или иначе заставит девицу пойти на вылазку. В самом деле, некоторые женщины впадают в жесточайшее недоумение, если их любовников не называют поименно. Это повергает их в полную растерянность, сбивает с толку. Стоит им услышать: «Ведь вы любили его», — как их так и тянет уточнить: «Кого вы имеете в виду?»

Однако м-ль де Герши выразилась несколько иначе; углубившись в размышления, она промолвила лишь:

— Ваши речи меня удивляют, я их не понимаю.

Лед был сломан. Казначей ринулся напрямик к цели. Схватив Анжелику за руки, он вскричал:

— Разве вы не виделись с командором де Жаром?

— С командором де Жаром? — повторила она.

— Поклянись, Анжелика, что вы его не любите.

— О господи, с чего вы взяли, что я о нем думаю? Я не видела его уже четыре месяца и даже не знаю, жив он или мертв. Он уехал из Парижа? Вот новость!

— Счастье моей жизни зависит от вас, Анжелика, скажите еще раз, что вы его не любите! Что вы никогда его не любили! — медленно вымолвил он, обратив на нее взгляд, исполненный тоски и муки.

Однако Жанен ничуть не стремился вывести ее из равновесия, напротив, он прекрасно знал, что такие женщины никогда не чувствуют себя увереннее, чем когда им представляется возможность подобным образом солгать. К тому же он начал свой коварный вопрос с магической формулы: «Счастье моей жизни зависит от вас», и пробужденная этими словами надежда стоила любых ложных клятв. М-ль де Герши отетила, отважно глядя ему в глаза:

— Его? Да никогда!

— Я верю вам! — воскликнул Жанен, кидаясь перед ней на колени и осыпая поцелуями ее руку, которую так и не выпускал. — Значит, я вновь могу обрести былое счастье! Послушайте, Анжелика, я покидаю Париж: матушка моя умерла, и я возвращаюсь в Испанию. Хотите вы отправиться туда со мной?

— Я?

— Я долго не решался прийти к вам: боялся быть отвергнутым. Я еду завтра. Бросьте Париж, бросьте оклеветавший вас свет. Через две недели вы станете моей женой.

— Вы обманываете меня!

— Чтоб мне умереть прямо тут, у ваших ног, если это не самое заветное мое желание! Хотите, я подпишусь в этом своей кровью?

— Поднимитесь, — растроганно ответила она. — Значит, вы меня любите, значит, вы и есть тот человек, который отомстит за все нанесенные мне оскорбления! Тысячу раз благодарю вас, и даже не за то, что вы для меня делаете, а за то утешение, которое вы мне принесли. И если вы скажете теперь: «Нам нужно расстаться», то радость от сознания, что вы меня уважаете, победит любые горести. Я навсегда сохраню память об этом, как хранила память о вас, неблагодарный, а вы еще упрекаете меня в измене!

Казалось, казначей обезумел от радости. Он понес дичайшую околесицу, на все лады повторяя, что он счастливейший из смертных. А м-ль де Герши, твердо вознамерившись принять необходимые меры предосторожности, ласково спросила его:

— Кто же мог внушить вам подобные подозрения насчет командора? Неужели он оказался таким негодяем, что похвалялся, будто я его любила?

— Он ровно ничего не говорил: просто я сам этого боялся.

Она вновь его успокоила, и они еще некоторое время обменивались томными репликами, то и дело принимаясь уверять друг друга в безумной любви. Жанен опасался, что столь стремительный отъезд придется не по душе его возлюбленной, и предлагал отложить его на несколько дней; но она не согласилась, и они условились, что завтра в полдень за Анжеликой прикатит экипаж и отвезет за город, туда, где казначей назначил ей встречу.

Мэтр Кенбер смотрел во все глаза и слушал во все уши: он не упустил ни единого слова из разговора, и последнее предложение казначей направило его мысли в иное русло.

«Черт побери! — думал он. — Этот толстяк, похоже, делает дьявольскую глупость и ведет себя, как последний простофиля. Вот странная штука: когда ты сам ни при чем, то все понимаешь с редкой прозорливостью! Этот дворянин попался в силки к настоящей бестии, или я ничего в этом не смыслю! Может быть, моя вдовушка думает сейчас то же самое, но, однако, когда дело касается ее самой, она ни черта не понимает. Вот он, мир: в нем можно играть лишь две роли — либо быть одураченным, либо дурачить самому. А что подельывает г-жа Рапалли?»

В это мгновение с другого конца комнаты послышался приглушенный шепот. Но Кенбер, пользуясь темнотой и разделявшим их расстоянием, лишь отмахнулся от доносившегося из тьмы бормотания вдовы, и вновь обратил взгляд в соседнюю комнату. То, что он там узрел, только подтвердило его мнение. Девица скакала, хохотала, размахивала руками, поздравляя себя с неожиданной удачей...

— Вот это да! Он так меня любит! — рассуждала она сама с собой. — Бедняга Жанен! А я-то с ним не церемонилась... Какое счастье, что командор де Жар при всей своей болтливости и тщеславии словом ему не обмолвился! Да, конечно, мы уедем прямо завтра. Нельзя допустить, чтобы по чьей-нибудь нескромности он узнал то, чего до сих пор не знает. А как же быть с герцогом де Витри? Вот ведь жалость... А впрочем, он

ужасает, не подает о себе вестей, и потом он женат. Неужели я опять появлюсь при дворе? Кто бы мог подумать, Господи! Нужно прийти в себя, убедиться, что это не сон. Да, он был тут несколько минут назад, у моих ног, говорил: «Анжелика, вы будете моей женой». И в самом деле, он может на меня положиться, я не посрамлю его чести! Было бы низко предать человека, который дает вам свое имя. Нет, никогда мне не придется упрекать себя в подобной гнусности, лучше уж...

Этот монолог был прерван донесшимся невесть откуда шумом: раздавшийся вдруг громовой хохот сменился затем бурной перебранкой. Следом раздался чей-то крик, и на несколько мгновений все смолкло. М-ль де Герши встревожилась, не зная, что и думать — ведь в особняке всегда было так тихо, так спокойно, — и направилась к двери спальни, то ли чтобы позвать слуг, то ли чтобы запереться, как вдруг дверь с грохотом распахнулась. Она так и отпрянула в испуге, воскликнув:

— Командор де Жар!

— Боже правый! — молвил Кенбер за перегородкой. — Что за забавная комедия! Неужели командор тоже будет каяться и испрашивать отпущения грехов? Но что я вижу?

Он как раз заметил юношу, которого де Жар выдавал за шевалье де Моранжа и с которым читатель познакомился в кабачке на улице Сент-Андре-дез-Ар. Это зрелище произвело на нотариуса эффект разорвавшейся бомбы. Он остолбенел, затрепетал, у него перехватило дух, колени его подогнулись, и темная пелена на мгновение заволочла глаза. Однако он взял себя в руки и сумел справиться и с изумлением, и с ужасом. Он вновь прильнул к перегородке, и если бы кто-нибудь вздумал обратиться к нему с вопросом, то не получил бы ответа. Нотариус не услышал бы и самого дьявола, если бы тот гаркнул ему в ухо; окажись он даже под дамочным мечом — он бы и тогда не тронулся с места.

Прежде чем м-ль де Герши успела оправиться от испуга, командор проговорил:

— Клянусь честью, красавица, если бы вы были аббатисой в Мон-мартрской обители, то и тогда добраться до вас было бы куда проще. Я наткнулся внизу на какого-то чудака, он пытался преградить мне дорогу, так что пришлось задать ему хорошую трепку. Значит, все, что мне рассказывали по возвращении, правда? Вы, значит, решили покаяться и затвориться от мира?

— Сударь, — ответила Анжелика, напустив на себя важный вид, — каковы бы ни были мои намерения, я вправе недоумевать и по поводу вашего буйства, и по поводу вашего визита в столь поздний час.

— Прежде всего, — перебил ее де Жар, повернувшись на каблучках, — позвольте представить вам моего племянника шевалье де Моранжа.

— Шевалье де Моранж! — прошептал мэтр Кенбер, это имя накрепко запечатлелось в его памяти.

— Этого юношу я привез из дальних краев. Как видите, он недурен собой и манеры у него очаровательные! Ну-ка, прекрасный незнакомец, поднимите свои черные очи и поцелуйте даме руку, как я вас учил.

— Сударь, приказываю вам, покиньте мой дом, или я позову...

— Кого же? Своего лакея? Да я поколотил этого бездельника, — я уже говорил, и еще неизвестно, хватит ли у него сил, чтобы посветить

мне, коли я соберусь уходить. Но уходить? Мне? Вот как вы встречаете старого друга! Садитесь же, шевалье.

Он подошел к м-ль де Герши и, как она ни упиралась, схватил ее за руку, усадил, а сам уселся подле нее.

— Ну что ж, дитя мое, поговорим серьезно. Я понимаю, что в присутствии незнакомого человека вы считаете своим долгом изображать, что вы до крайности смущены моими действиями. Но ему и без того все известно, и он ничему не удивится: ни тому, что увидит, ни тому, что услышит. Словом, обойдемся без неприступной мины. Я приехал вчера и лишь сегодня обнаружил ваше убежище. Не стану спрашивать вас, что тут творилось за время моего отсутствия. Об этом знает один Господь Бог — сам он ничего мне не расскажет, а вы наврете с три короба, так что лучше избавить вас от этого греха. Но вот он я — весел как прежде, влюблен как никогда и готов возродить былые привычки.

Девица, растерявшись от этого шумного вторжения, от хвастливых речей и видя, что напускной важностью ничего не добьешься, кроме новой выходки, притворилась, будто смирилась со своею ролью. А мэтр Кенбер тем временем не спускал глаз с шевалье де Моранжа. Тот сидел как раз напротив перегородки. Наряд его, весьма элегантного покроя, выгодно подчеркивал его красоту. Блестящие черные волосы оттеняли красоту лица, большие черные глаза, осененные смуглыми веками, были обрамлены длинными шелковистыми ресницами. Взгляд, казалось, проникал в самую душу, и в нем читалось странное выражение — смесь отваги и слабости; губы у него были тонкие, чуть бледные, и уголки их порой чуть приподнимались в иронической усмешке; безупречно красивые руки, почти крошечные ступни; с игривой нарочитостью шевалье то и дело выставлял напоказ идеальной красоты ноги, видневшиеся над сапожками, широкие голенища которых, складками спускавшиеся к щиколоткам, были украшены богатым шелковым кружевом по самой последней моде. На вид шевалье можно было дать лет восемнадцать, не более, и природа не наделила его лицо отличительной чертой его пола. Ни малейшего пушка не было еще на его щеках, лишь по верхней губе изгибалась чуть темневшая линия. При его несколько женственной красоте, грациозных формах и изменчивом взгляде, сверкавшем то отвагой, то негой, как взор юного пажы, он походил на очаровательного плута, самой судьбой предназначенного распалать внезапные страсти и странные капризы. Пока его мнимый дядюшка довольно бесцеремонно устраивался поудобнее, шевалье, как заметил Кенбер, немедленно распустил павлиний хвост перед красоткой, исподтишка бросая на нее томные и нежные взгляды. Эти поползновения вдвойне возбудили любопытство нотариуса.

— Дитя мое, — промолвил командор, — с тех пор как мы не виделись, на меня свалилось целое состояние, сто тысяч ливров, ни больше ни меньше. Моя родная тетка сочла уместным испустить дух, и поскольку она была женщиной своенравной и коварной, то, дабы досадить ухаживавшим за ней родственникам и после своей кончины, она назначила меня своим единственным наследником. Сто тысяч ливров! Довольно кругленькая сумма, тут есть на что пожить властью и покрасоваться года два. Если хотите, мы вместе промотаем и капитал, и проценты. Но вы не

отвечаете? Может быть, сердце ваше принадлежит другому? Черт побери, как было бы жаль... счастливого соперника, которому вы отдаете предпочтение, потому что соперника я не потерплю, предупреждаю вас.

— Господин командор, — ответила Анжелика, — разговаривая со мной подобным образом, вы забываете, что я не давала вам никакого права спрашивать у меня отчета в моих поступках.

— Разве мы рассорились?

Услыхав этот странный вопрос, она встрепелулась.

Де Жар тем временем продолжал:

— Разве мы не простились последний раз в самом добром согласии? Я прекрасно знаю, что с тех пор прошло несколько месяцев, что больше мы не виделись; но я представляю вполне законные мотивы своего отсутствия, а прежде чем найти замену покойнику, его нужно хотя бы оплакать. Так, значит, вы действительно нашли мне замену?

М-ль де Герши с трудом сохраняла спокойствие и, как могла, держала себя в руках, собираясь до конца испить горькую чашу, но она не в силах была дольше сносить такие унижения. Бросив на не сводившего с нее глаз шевалье исполненный муки взгляд, она не нашла ничего лучше, чем разразиться слезами и, захлебываясь рыданиями, поведать, как она несчастна, оттого что с ней так обращаются, что она этого не заслужила и что это Божья кара за то, что она уступила любви командора. Можно было поклясться, что это самые искренние слезы — от чистого сердца. Не будь мэтр Кенбер свидетелем предыдущей сцены, не знай он истинную цену добродетели нашей барышни, он бы, возможно, умилится столь трогательным жалобам и стенаниям. Шевалье, казалось, был глубоко взволнован горем Анжелики, и пока дядюшка его, чертыхаясь, как язычник, мерил шагами комнату, он стал потихоньку пододвигаться к девице, жестами выражая свое сочувствие.

Нотариус пребывал в странном и растерянном состоянии духа: ему ведь и в голову не приходило, что все увиденное им было заранее подстроено де Жаром и Жаненом, но зато он был уверен, что жалость со стороны шевалье де Моранжа, все его вздохи и страстные взгляды — не что иное, как лицемерие. Будь он один, он, наверное, не сумел бы сдержаться и бросился бы очертя голову в эту неразбериху, чтобы придать ей неожиданный поворот и появиться среди остолбеневших собеседников подобно голове горгоны Медузы. Но присутствие вдовы Рапалли остановило его — он рисковал разрушить все надежды на будущее, разом исчерпав открывшийся перед ним золотой родник, и все ради проделки, пусть даже самой великолепной. Из осторожности и памяти о собственной выгоде, он остался за кулисами.

Слезы барышни и сочувственные мины шевалье не вызвали ни малейшего раскаяния у бравого командора; напротив, свое дурное настроение он выражал весьма энергично: пол трясся под его каблучищами, шпоры звенели, а нахлобучив на глаза украшенную плюмажем шляпу, он всем своим видом стал напоминать хвастуна-рубаку из испанских комедий. Но вдруг он, кажется, принял некое серьезное решение: ярость на его лице сменилась холодностью, и, приблизившись к Анжелике, командор проговорил со спокойствием, еще более грозным, чем гнев:

- Имя соперника?
- Вы его не узнаете, — отвечала та.
- Его имя, сударыня!

— Никогда! Мне опостытели ваши оскорбления. Я не обязана перед вами отчитываться.

— Так я узнаю его и без вас — я знаю, кто мне поможет. Вы воображаете, что мною и моей любовью можно безнаказанно играть? Нет, нет! Раньше я верил в вашу честность, был глух к любым слухам, которые почитал клеветой. Всем было известно, какую безумную страсть я к вам питаю; я сделался притчей во языцех, посмешим всею города; теперь вы излечили меня от ослепления, у меня открылись глаза, и я прекрасно вижу, что должен отомстить как полагается. Некогда я называл другом одного негодяя, не хотел верить в его предательство; меня предупреждали, но я отметал все предостережения. Но теперь я пойду к нему и скажу: «Вы похитили то, что принадлежало мне, вы — негодяй! Вы поплатитесь за это жизнью, или я поплачусь своею!» И если на небесах есть справедливость, я убью его. Сударыня, вы даже не спрашиваете, как зовут этого человека! Вы знаете, о ком я говорю!

Эта угроза показала м-ль де Герши, какой страшной опасности она подвергается. Сначала она подумала было, что визит командора — ловушка, чтобы испытать ее; однако грубость его слов, цинизм его предложений — да еще в присутствии постороннего — разубедили ее. Ни один разумный человек и не помыслил бы даже, что можно рассчитывать на успех, прибегая к столь возмутительным приемам, и если бы командор хотел убедиться в ее вероломстве, он бы явился один и воспользовался более убедительными средствами; он же, по всей видимости, считал, что у него есть еще какие-то права, и требовал их соблюдения столь нелепым способом, что тем самым их же и терял. Но когда он пригрозил свести счеты с соперником, на которого довольно прозрачно намекал, пригрозил раскрыть ему тайну, которую Анжелика так стремилась сохранить, бедная девица окончательно потеряла голову. Она смотрела на де Жара с ужасом и отвечала дрожащим голосом:

— Я понятия не имею, о ком вы говорите.

— Понятия не имеете? Завтра же я попрошу казначея государственной казны Жанена де Кастий прийти к вам за час до нашей дуэли и поставить вас в известность.

— Нет, нет, вы этого не сделаете! — вскричала она, заламывая руки.

— Прощайте, сударыня.

— Нет, вы так не уйдете, я вас не отпущу, пока не добьюсь, чтобы вы пообещали мне это.

Она обеими руками вцепилась в его плащ, потом, обернувшись к шевалье де Моранжу, воскликнула:

— Вы еще так молоды, сударь, и я ничем вас не обидела, заступитесь же за меня, помогите мне уломать его.

— Дядюшка, — умоляюще промолвил шевалье, — будьте великодушны, не доводите женщину до отчаяния.

— Просьбы бесполезны, — отрезал командор.

— Но что же мне делать? — взмолилась Анжелика. — Затвориться от мира, чтобы понести наказание? Я готова. Не видеться с ним больше?

Но, боже мой, дайте мне время, отложите вашу месть всего на один день. Клянусь, уже завтра вечером вам нечего будет опасаться. Ведь я думала, вы бросили меня, забыли, да и как могла я думать иначе? Уехали, даже не предупредив, не подавали о себе никаких вестей... Да кто вам сказал, что я не оплакивала эту разлуку? Что, пребывая в тоске, мучительной скуке и одиночестве, я не старалась разузнать, какая причина удерживает вас вдаль от меня? Почему вы больше не появлялись? Вы покинули Париж, но разве я о том знала? Разве вы меня предупредили? О, если вы действительно меня любите, обещайте, что не станете устраивать эту дуэль, что не пойдете завтра к этому человеку!

Барышня воображала, что совершит чудо подобным красноречием, сопровождая свой монолог слезами и патетическими жестами. Услыхав, что она просит отсрочки на один день и клянется, что за это время Жанен получит окончательную отставку, командор и шевалье принялись кусать губы, чтобы не расхохотаться. Первый успел овладеть собой, пока Анжелика, стоя перед ним на коленях, умоляюще сжимала его руки. Он заставил ее поднять голову и, пристально глядя ей в глаза, молвил:

— Завтра, сударыня, если не сегодня вечером, я все ему расскажу, и мы будем драться.

Оттолкнув ее, он направился к двери.

— О, я несчастная! — вскричала Анжелика.

Она хотела подняться и кинуться вслед за ним, но либо волнение ее было непритворным, либо она избрала обморок последним средством убеждения, она испустила душераздирающий крик, и шевалье пришлось подхватить ее.

Де Жар, увидав племянника с такой ношей на руках, захохотал, как безумный, и почти бегом выскочил вон. А спустя еще две минуты он уже входил в кабачок на улице Сент-Андре-дез-Ар.

— Как! Ты один? — воскликнул Жанен.

— Один.

— А куда же ты дел шевалье?

— Оставил его наедине с красоткой — она без чувств, при последнем издыхании, еле дышит. Ай-ай, так и рухнула прямо ему в объятия. Ай-ай-ай!

— И чертов проказник вполне способен заменить меня в этом бедственном для нее положении.

— Ты так считаешь? Ха-ха-ха!

И де Жар так добродушно и громко захохотал, что его достойный компаньон, не в силах удержаться при таком замечательном примере, чуть не захохотал от смеха.

Едва после ухода командора на некоторое время воцарилась тишина, как мэтр Кенбер услышал с другого конца комнаты бормотанье вдовы Рапалли, но ему меньше чем когда бы то ни было хотелось ею заниматься.

«Черт подери, — сказал он себе, — эта сценка сулит оказаться еще удивительнее, нежели предыдущие. Не думаю, что кому-нибудь доводилось побывать в подобном положении. У меня дьявольски чешутся руки, и хотя ради собственной выгоды я не должен двигаться с места, мне так и хочется пойти и надавать по щекам этому шевалье де Моран-

жу. Если бы я мог раздобыть доказательства того, что здесь творится! Ага, послушаем, барышня открыла глазки».

В самом деле, Анжелика с нескрываемым страхом огляделась вокруг, несколько раз проведя рукой по лбу и словно пытаясь привести в порядок перепутавшиеся мысли.

— Он ушел! — вскричала она. — Ах, почему вы его не удержали? Нужно было оставить меня и держать его.

— Успокойтесь, — отвечал шевалье, — успокойтесь ради всего святого! Я повидаюсь с дядюшкой и добьюсь, чтобы он отказался от мысли погубить вас. Не плачьте так горько, ваши слезы разрываю мне сердце. О Господи, какая нужна жестокость, чтобы так вас огорчат! У меня бы не стало на это сил! Я не мог бы спокойно и равнодушно взирать на ваши слезы, и каким бы справедливым ни был мой гнев, он утих бы при одном взгляде на вас.

— Славный юноша! — молвила Анжелика.

— Дурочка! — прошептал метр Кенбер. — Сейчас ты завязнешь в патоке его речей... К чему же, черт возьми, он клонит? Сам сатана не додумался бы до его интриги!

— Прежде чем поверить в вашу виновность, мне потребовались бы доказательства, притом самые неопровержимые. И кто знает, может, одного вашего слова хватило бы, чтобы вновь повергнуть меня в нерешительность и неуверенность. О да, пусть бы вас обвинял целый свет, пусть бы он свидетельствовал против вас, я и тогда верил бы лишь вам одной. Я молод, сударыня, я никого еще не любил. Несколько минут назад я даже не представлял себе, что за единый миг — едва успев увидеть и восхититься, — некая мысль может полностью овладеть сердцем и перевернуть все наше существо; не ведал, как в душе навсегда запечатлеваются заветные черты, которые, возможно, не суждено больше увидеть! И однако, если бы совершенно незнакомая женщина пришла ко мне со словами: «Я взываю к вам о помощи, спасите меня, защитите!» — я, не раздумывая, предложил бы руку и шпагу и верно служил бы ей! А вы, сударыня, так прекрасны! За вас я готов умереть! Так чего же вы хотите? Говорите, что я должен делать.

— Расстройте эту дуэль, помешайте вашему дядюшке встретиться с человеком, о котором он говорил. Но отвечайте, ведь вы не умеете лгать!

— Да уж, надейся, дуреха ты этакая, — пробормотал в своем закутке мэтр Кенбер, — а в этой игре ты сущее дитя, особенно рядом с шевалье. Знала бы ты, с кем имеешь дело!

— В ваши лета еще нельзя научиться кривить душой, — продолжала меж тем Анжелика. — Сердце еще не зачерствело, не развращено, в нем есть еще жалость. Мне в голову пришла страшная мысль, чудовищное подозрение! Мне видится адская ловушка, в которую меня хотят завлечь из прихоти, чтобы посмеяться. Скажите, не играли ли все это? Бедной женщине приходится сталкиваться с таким коварством! Людям нравится смущать и сердце ее, и разум, они играют на ее тщеславии, окружают почтением, лестью, обольщают, а потом смеются над ней, оскорбляют ее и презирают. Они сговорились? Вся эта любовь, вся эта ревность — одно притворство?

ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА

Вот уже почти сто лет как эта загадочная история волнует воображение романистов и драматургов и не дает покоя ученым. Нет сюжета более темного, более спорного и в то же время более популярного. Она подобна легенде, о которой никто не знает ничего определенного, но в которую все верят. Длительное тюремное заключение и тщательные предосторожности для изоляции узника вызывают невольное сочувствие, граничащее с ужасом, а тайна, окутывающая жертву, еще более увеличивает сострадание к ней. Может быть, знай мы подлинного героя этой мрачной истории, она была бы уже забыта. Даже одно лишь открытие его имени превратило бы ее в рядовое преступление, интерес к которому быстро исчез бы, а слезы сострадания иссыкли бы. Но этот человек, бесследно оторгнутый от общества, был подвергнут беспрецедентному наказанию и старательно обособлен даже в тюрьме, словно одиночной камеры было недостаточно для сохранения тайны. Судьбу узника мы можем сравнить с поэтическим олицетворением страдания, которое соединило в себе все несправедливости тирании, все человеческие бедствия. Кем был этот человек в маске? Что привело его в безмолвие заключения — распутная жизнь придворного или интриги дипломата, смертный приговор или грохот битвы? Что он потерял? Любовь, славу, трон? Каковы были муки этого человека, у которого не осталось надежды? Как он вел себя — изрыгал проклятия и богохульства или только терпеливо и покорно вздыхал? Одно и то же страдание каждый человек переживает по-своему, и тот, кто мысленно проникает под своды Пиньероля или д'Экзиля, на острова Сент-Маргерит или в Бастилию, воображает себе долгую агонию узника в соответствии со своими капризами и своими симпатиями и приписывает ему муки, вытекающие из собственных чувств. Он хотел бы узнать о мыслях узника в уединении, почувствовать биение его сердца, дававшее жизнь этой одушевленной машине, и отыскать следы слез, которые текли под его бесстрастной маской.

Мучительно даже представить себе его участь: нескончаемые внутренние монологи, не отражающиеся на лице, сорокалетнее заключение за двойным ограждением — каменными стенами и железной маской. Воображение невольно приписывает ему величественное благородство, связывает тайну этого человека с самыми возвышенными интересами и настойчиво видит в нем жертву государственных секре-

тов, возможно, принесенную во имя благополучия народов и спасения монархии.

Если поразмыслить, однако, более спокойно, то не покажется ли эта история обыкновенным поэтическим вымыслом? Не думаю. Напротив, мне сдается, что здравый смысл помогает здесь порыву воображения. В самом деле, не естественно ли предположить, что тайна, окутывавшая имя, возраст и внешность узника и сохраняемая в течение стольких лет с такими предосторожностями и настойчивостью, диктовалась наиважнейшими политическими интересами? Людские страсти, гнев, ненависть, месть не могут быть столь упорными и длительными. Подобные приказы нельзя объяснить заурядной жестокостью. Если даже предположить, что Людовик XIV был самым жестоким из монархов, неужели он не мог выбрать любую из казней, не прибегая к такой необычной пытке? Зачем ему было добровольно утруждать себя, окружая одного-единственного узника бесконечными предосторожностями и постоянным наблюдением? Не боялся ли он, что ключ этой страшной загадки когда-нибудь будет найден по другую сторону тюремных стен, где он сокрыл постоянный источник тревоги за судьбу своего царствования? В то же самое время он почему-то заботился об узнике, которого так трудно было охранять и так опасно обнаружить! Все могла бы разрешить смерть при невыясненных обстоятельствах, но король не хотел этого. Что тут причиной — ненависть, гнев, страсть, наконец? Конечно нет! И можно сделать вывод из такого поведения: меры, принятые против узника, диктовал чисто политический интерес; король прибегал к строгостям, необходимым для сохранения тайны, но не решался пойти дальше, убить несчастного, который, возможно, не совершил никакого преступления.

Придворные не имеют обыкновения терпимо относиться к врагам своего властелина; поэтому само внимание, даже почтительность, выказываемая к узнику в маске комендантом Сен-Маром и министром Лувуа, служат доказательством как невинности этого лица, так и его высокого положения в жизни.

У меня лично нет притязаний на эрудицию книгочех, и я всегда видел в истории человека в железной маске лишь злоупотребление силой, отвратительное преступление, безнаказанность которого вызывает возмущение. Несколько лет назад, когда мы с г-ном Фурнье решили представить этот сюжет на сцене, мы внимательно перечли и сравнили различные опубликованные его версии. После успеха драмы, поставленной в «Одеоне», появились два отклика: письмо г-на Бийара, направленное им в Исторический институт и воспроизводящее сюжет, заимствованный нами у Сулави, а второй — работа библиофила Жакоба, которая дает вопросу новое освещение и свидетельствует о глубоких исследованиях и огромной начитанности. Работа Жакоба отнюдь не поколебала моих воззрений. Появись она до написания драмы, я все равно последовал бы своему варианту освещения этой истории, которым я воспользовался в 1831 г.: он куда драматичнее и кажется мне единственно правдоподобным, потому что в нем заключена мораль, весьма важная для столь мрачной и неясной истории. Кое-кто, пожа-

луй, скажет, что драматурги легко дают увлечь себя соблазнам выдумки и патетики, что они склонны жертвовать логикой ради эффектности, одобрением ученых ради аплодисментов партера. Но на это можно ответить, что эрудиты из любви к более или менее точным датам, к толкованию темных мест в тексте, которые не сумели прояснить до них и которые никогда, ни в каких дискуссиях не могут быть прояснены, из простодушного пристрастия к нагромождению дат и нанизыванию цитат часто забывают о главном. История этого необычного узника нуждается в объяснении как из-за суровости и длительности заключения, так и ввиду неясности причин, приведших к такой каре. Там, где одной эрудиции недостаточно, где каждый исследователь текста, опровергая предшественников, в свой черед опровергается преемниками, — там следует руководствоваться не только одними данными науки, и читатель, сопоставив все версии, убедится, что все они безупречны. Это положение тем более бесспорно в случае с человеком в железной маске. Вслед за первой загадкой: «Кто этот человек в маске?» — встает вторая: «Что явилось причиной такой невиданной кары вплоть до смерти арестанта?» Для того, чтобы заставить воображение замолчать, нужны положительные, точные доказательства, а не просто рассуждения.

Не утверждая и не настаивая, что аббат Сулави приподнял завесу истины, я убежденно повторяю: его версия наиболее правдоподобна, она основана на наиболее достоверных положениях. Это твердое убеждение дает мне не огромный и длительный успех пьесы, но легкость, с которой можно опрокинуть противоположные точки зрения, опровергая одну другой. В книге, где элементы успеха отличны от диктуемых театром, я, если бы мне позволила совесть, придумал бы захватывающую историю о любви Букингема и королевы или о тайном браке Мазарини и Анны Австрийской. При этом я смог бы воспользоваться книгой Сен-Мийеля, которую библиофил, как он признается, не читал, хотя она явно не относится к числу редких и малодоступных. Да и тут я тоже мог сделать парафраз моей пьесы, представить подлинные исторические лица, чьи имена в драме иногда были изменены, а значение и весомость преувеличены, и принудить их играть те же роли, придавая их действиям видимость правдоподобия. И вообще, какую сказку ни выдумай, какие хитросплетения ни пусти в ход, — ничто не сможет убить интерес, возбуждаемый всевозможными историями, что написаны о Железной маске, и противоречивыми, как правило, подробностями, которые приводят авторы и свидетели, претендующие на осведомленность. Понятное дело, любое произведение на эту тему, даже посредственное, даже совершенно ничтожное, всегда пользовалось успехом, и тому примером совершеннейшая нелепица шеваляе де Муи, этого бретера пера на жалованье у Вольтера, нелепица в шести частях под названием «Железная маска, или Поразительные приключения отца и сына», вышедшая в 1746 г. без имени автора у Пьера де Ондта в Гааге, а равно столь же нелепый роман Реньо-Варенна или сочинение в четырех томах г-жи Генар, изданное в 1837 г. в Париже.

В театре автор вынужден был занимать особую позицию. Он подчиняется неумолимым законам логики, следует своему замыслу и отвер-

гает все, что его стесняет или ему мешает. Книга же, напротив, издается, чтобы возбудить спор. И мы представляем читателю фрагменты процесса, в котором еще не вынесен окончательный приговор и, вероятнее всего, никогда вынесен не будет, если только не вмешается какой-нибудь счастливых случай.

Первым об узнике заговорил анонимный автор «Персидских записок», выпущенных в свет в 1745 г. товариществом книгоиздателей Амстердама.

На стр. 20 второго издания автор объявляет: «Имея единственной целью рассказать *о делах до сих пор неведомых — как о тех, что доселе не описаны, так и о тех, о коих невозможно умолчать*, мы перейдем к малоизвестному факту, касающемуся принца Джафара (Луи де Бурбона, графа де Вермандуа, сына Людовика XIV и м-ль де Лавальер), которого Али-Хомаджу (герцог Орлеанский, регент) посетил в крепости Исфохана (Бастилия), где тот находился в заточении уже многие годы. Этот визит имел целью удостовериться, что принц, считавшийся умершим от чумы более тридцати лет назад и похороненный в присутствии целой армии, жив.

У шаха Аббаса (Людовика XIV) был законный сын Сефи-Мирза (Людовик, дофин Франции) и побочный сын Джафар. Принцы отличались как по рождению, так и характерами, они вечно ссорились и соперничали. Однажды Джафар в запальчивости дал пощечину Сефи-Мирзе. Шах Аббас, которому сообщили об оскорблении, нанесенном наследнику престола, собрал ближайших своих советников и поведал им о преступлении Джафара, за какое, по законам страны, тот должен быть покаран смертью, однако один из министров, более чувствительный, чем другие, к скорби шаха Аббаса, предложил отослать Джафара в войско, стоявшее на границе с Фельдраном (Фландрией), а через несколько дней представить дело так, будто он погиб, и тайно перевезти его в крепость на остров Ормуз (о-ва Сент-Маргерит), навечно там заточить, а перед войском изобразить пышные похороны.

Этот совет был принят и исполнен при участии верных и умеющих хранить тайну подданных; принц, преждевременную смерть которого оплакивали воины, окольными дорогами был привезен на остров Ормуз и сдан на руки коменданту крепости; тот заблаговременно получил приказ не показывать узника никому, кто бы этого ни добивался. Единственный слуга, хранитель этой государственной тайны, был убит в пути воинами конвоя, а чтобы он не был опознан, они кинжалами обезобразили его лицо.

Комендант крепости Ормуз обращался с узником с великим почтением, сам прислуживал ему и принимал в дверях камеры блюда из рук поваров, среди коих никто никогда не видел лица Джафара. Однажды принц на дне тарелки вырезал ножом свое имя. Слуга, которому попала эта тарелка, отнес ее коменданту, надеясь получить награду, но несчастный ошибся: его тут же прикончили, чтобы никто не узнал столь важную тайну.

Джафар долгие годы провел в крепости Ормуз. Потом его перевели в крепость Исфохан, когда шах Аббас в благодарность за верность на-



значил ормузского коменданта командовать столичной крепостью, где открылась вакансия. Как в Ормузе, так и в Исфахане на принца предусмотрительно надевали маску, когда по болезни или какой другой причине ему нужно было кому-то показаться. Многие заслуживающие доверия особы утверждали, что неоднократно видели замаскированного узника, и рассказывали, что он обращался к коменданту на «ты», а тот относился к нему с безграничным почтением.

Если спросят, почему Джафар, namного пережив шаха Аббаса и Сефи-Мирзу, не был освобожден, чего следовало бы ожидать, то следует заметить, что не было никакой возможности вернуть положение, титул и привилегии принцу, чья могила была еще цела, а кроме того, существ-

вовали не только очевидцы его похорон, но и писанные свидетельства, вера в подлинность которых не изгладилась еще из памяти народа; поэтому, что бы ни придумывали, народ остался бы в убеждении, что Джафар скончался от чумы в войсковом лагере в Фельдране. Али-Хамджу умер вскоре после посещения Джафара».

Эта версия, первоисточник всех споров по поводу Железной маски, поначалу была принята всеми. До серьезной проверки она неплохо соответствовала событиям, происходящим в царствование Людовика XIV.

Граф де Вермандуа действительно отправился в Арре, откуда был удален королем за то, что со многими дворянами предавался оргиям *на итальянский лад*.

«Король, — пишет м-ль Монпансье в своих мемуарах, — был весьма недоволен его поведением и не хотел его видеть. Юный принц, доставивший много горя своей матери, хотя наставления ему давались самые наилучшие и все надеялись, что из него получится достойный человек», пробыл при дворе всего четыре дня и в начале ноября 1683 г. был уже в лагере при Куртре; вечером 12 ноября он скверно почувствовал себя, а 19 умер от злокачественной лихорадки. М-ль де Монпансье пишет, что де Вермандуа умер, «опившись водкой».

Против этой версии можно выдвинуть немало самых разных возражений.

Прежде всего, если бы за те четыре дня, что граф де Вермандуа пробыл при дворе, нравы которого даже за столь короткий срок было нетрудно постичь, он дал бы пощечину дофину, об этом чудовищном происшествии стало бы известно всем. Но об этом написано только в «Персидских записках». Пощечина представляется тем более неправдоподобной, если принять во внимание разницу в возрасте между обоими принцами. Дофин, отец герцога Бургундского, родился 1 ноября 1661 г. и ему было 22 года, то есть он был на шесть лет старше графа де Вермандуа. И совершенно опровергает эту версию извлечение из письма Барбезье Сен-Марсу от 13 августа 1691 г.:

«Ежели у вас будет нужда испросить у меня что-либо для узника, уже *двадцать лет* находящегося под вашей охраной, прошу вас прибегать к тем же предосторожностям, какими вы пользуетесь, когда пишите г-ну де Лувау».

Граф де Вермандуа, умерший по официальным сообщениям в 1683 г., никак не мог к 1691 г. пробыть в заключении *двадцать лет*.

Спустя шесть лет после того, как к человеку в маске было привлечено внимание рассказчиков, Вольтер под псевдонимом Франшвилль выпустил «Век Людовика XIV». И тотчас же в этом давно ожидаемом произведении обнаружилось несколько подробностей о таинственном узнике, возбуждавшем столько толков.

Вольтер наконец осмелился заговорить об этом узнике более ясно, чем все до него, и ввести в повествование «событие, на которое историки прежде не обращали внимания». Он называет дату, когда началось заточение: через несколько месяцев после смерти кардинала Мазарини (1661 г.); дает портрет неизвестного, который, по его словам, был «выше среднего роста, молод, с красивым и благородным лицом, смугл, интере-



совался единственно своим голосом, никогда не жаловался на свое положение и не делал намеков на то, кем он был». Вольтер не преминул описать маску, «в нижней части которой имелись стальные пружины, позволявшие узнику есть, не снимая ее». Наконец, он назвал дату смерти этого человека, «похороненного в 1704 г. ночью в приходе Сен-Поль».

Рассказ Вольтера воспроизводил основные обстоятельства «Персидских записок», за исключением эпизода, относящегося к заключению Джафара. На узнике, когда его везли на острова Сент-Маргерит, а потом перевозили в Бастилию под охраной Сен-Марса, особо доверенного офицера, была надета маска, и имелся приказ убить его, если он откроет лицо. Маркиз де Левуа, приехавший на остров повидаться с

узником, разговаривал с ним стоя, с уважением, граничащим с почти-тельностью. В 1690 г. узник был переведен в Бастилию, и там ему были созданы наилучшие условия, какие только были возможны в тюремном замке; ему ни в чем не отказывали, а любил он более всего тонкое белье и кружева; играл на виолончели; ему доставляли наилучшие яства, и комендант весьма редко садился в его присутствии.

Вольтер приводит многие подробности, которые он узнал от Бернавиля, преемника Сен-Марса на посту коменданта, и от старика врача, который лечил несчастного узника, но так ни разу и не видал его лица, «хотя неоднократно смотрел ему язык да и все тело». Он также сообщает, что г-н де Шамийар был «последним министром, знавшим эту тайну, и что его зять маршал де Ла Фейад на коленях умолял его сказать, кто же скрывается под железной маской, и что перед кончиной в 1721 г. Шамийар признался, что дал клятву никогда не раскрывать этот государственный секрет». К этим подробностям, удостоверенным герцогом де Ла Фейадом, Вольтер добавляет поразительное замечание: «еще большее удивление вызывает обстоятельство, что в то время, когда неизвестный был доставлен на острова Сент-Маргерит, ни одна сколько-нибудь значительная персона в Европе не исчезла».

Дискуссия не утихала, и некоторые голландские ученые выдвинули предположение, в какой-то мере основывающееся (впрочем, как любое другое предположение) на исторических фактах. По этой новой версии узник в маске был молодым иностранным дворянином, камер-юнкером Анны Австрийской и предполагаемым отцом Людовика XIV. Это предположение имеет первоисточником книгу, напечатанную в Кельне у Пьера Марто под заглавием «Любовные утехи Анны Австрийской, супруги Людовика XIII, с С. Д. Р., подлинным отцом Людовика XIV, короля Франции, где можно найти подробности о том, что было предпринято ради появления на свет наследника престола, и о развязке этой комедии». Брошюра выдержала пять изданий. На титуле третьего издания вместо инициалов С. Д. Р. стоит имя кардинала Ришелье. Но это явное заблуждение издателя, что легко выяснить при чтении самого произведения. Кто-то считал, что эти три буквы означают comte de Rivière, кто-то — comte de Rochefort, потому что его мемуары, редактированные Сандра де Куртилем, открываются этими инициалами.

«Это сообщение, — пишет автор, оранжистский писатель на службе короля Вильгельма, — раскрывает великую тайну незаконного происхождения Людовика XIV. И хотя в нем много нового и неизвестного для нас, во Франции все это не является тайной. Известная всем холодность Людовика XIII, неожиданное рождение Людовика Богданного, названного так, потому что он появился на свет после 23 лет бесплодного брака, не говоря уже о других примечательных обстоятельствах, столь ясно и убедительно доказывают его незаконность, что надо обладать крайним бесстыдством, чтобы утверждать, будто виновником его появления на свет был король, почитающийся его отцом. Знаменитые парижские баррикады и грозный мятеж, поднятый против Людовика XIV при его восшествии на престол, во главе которого встали самые высокие особы, сделали незаконность его рождения столь очевидной, что все о

том только и говорили, а поскольку здравый смысл давал тому подтверждение, то вряд ли у кого возникли на сей счет сомнения».

Вот в нескольких строках эта довольно ловко сочиненная сказка.

«Кардинал Ришелье с гордостью следил за романом Гастона Орлеанского, брата короля, и своей племянницы Паризиатиды (г-жи де Комбале) и задумал выдать ее за него. Гастон, оскорбленный таким предложением, ответил кардиналу пощечиной, и тогда отец Жозеф подсказал Ришелье и его племяннице идею, как лишить Гастона короны, которую он мог бы получить по причине всем известного бессилия Людовика XIII. Они ввели в спальню к Анне Австрийской молодого человека С. Д., на тайную и безнадежную любовь которого королева уже обратила внимание. Анна Австрийская, по существу вдова при живом муже, почти не противилась, а на следующий день объявила кардиналу: «Ну что ж, вы сделали свое злое дело. А теперь позаботьтесь, господин прелат, о том, чтобы я обрела снисхождение и благоволение неба, которое вы мне сулили своими благочестивыми софизмами. Позаботьтесь о моей душе, ибо я надеюсь на вас». Наслаждение радостями любви продолжалось, и вскоре по королевству разошлась радостная весть о беременности королевы. Так посредством преосуществления явился на свет Людовик XIV, якобы сын Людовика XIII. Если эта история по нраву публике, — пишет памфлетист, — то не замедлит появиться продолжение, в котором повествуется о неизбежной катастрофе С. Д. и о том, сколь дорого обошлись ему наслаждения».

Несмотря на большой успех первой части, продолжения не последовало. Надо признать, что эта таинственная история, которая, впрочем, никого не убедила в незаконном происхождении Людовика XIV, стала тем не менее великолепным прологом к несчастной судьбе узника в маске и, несомненно, внесла свой вклад в рост интереса к нему. Мнение голландских ученых нашло немного сторонников и вскоре было заменено новым предположением.

Третьим историком, который заговорил об узнике, заточенном на островах Сент-Маргерит, был Лагранж-Шансель. В возрасте 89 лет он, подстрекаемый ненавидящим Вольтера Фрероном, направил из своего замка Антония в Перигоре письмо в «Анне литерер», в котором опровергал версию, изложенную в «Веке Людовика XIV», и приводил сведения, которые почерпнул, когда сам был в заключении в тех же местах, где за двадцать лет до него содержался прославленный узник.

«В пору моего пребывания на островах Сент-Маргерит, — пишет он, — заключение Железной маски уже не было государственной тайной, и я узнал подробности, о которых историк, более строгий в своих исследованиях, чем Вольтер, дознался бы, дай он себе труд поинтересоваться ими. Это чрезвычайное событие, которое он относит к 1662 г., спустя несколько месяцев после смерти кардинала Мазарини, на самом деле произошло в 1669 г., то есть через восемь лет после кончины его высокопреосвященства. Г-н де Ламот-Герен, комендант островов в пору моего заточения там, уверял меня, что этим узником был герцог де Бофор; его считали погибшим при осаде Кандии, однако тело его, если верить тогдашним реляциям, так и не смогли найти. Г-н де Ла-

мот-Герен поведал мне также, что Сен-Марс, переведенный сюда комендантом из Пиньероля, относился к узнику с крайним почтением, сам подавал ему еду на серебряном блюде и нередко по его просьбе доставлял ему самую дорогую одежду. При болезни узник под страхом смерти обязан был показываться врачу только в железной маске, а щетину на лице он мог выщипывать, лишь когда оставался один, стальными полированными и очень блестящими щипчиками. Такие щипчики я видел у г-на де Формануара, племянника Сен-Марса, лейтенанта роты охраны. Многие рассказывали мне, что, когда Сен-Марс отправлялся занять должность коменданта Бастилии, куда он перевез и узника, тот в пути задал ему вопрос: «Король все еще хочет лишить меня жизни?» — на что Сен-Марс ответил: «Нет, принц, вашей жизни ничто не угрожает, вы должны позволить лишь проводить вас».

Более того, от некоего Дебюиссона, кассира знаменитого Самюэля Бернара, который был переведен на острова Сент-Маргерит после нескольких лет пребывания в Бастилии, я узнал, что там он был помещен с несколькими другими заключенными в камеру, находившуюся под той, где содержался неизвестный, и они имели возможность переговариваться через дымоход камина, но когда его спросили, почему он не хочет сообщить им свое имя и рассказать о своих приключениях, то в ответ услышали: «Это признание будет *стоить жизни* мне, а равно и тому, кто проникнет в мою тайну».

Как бы то ни было, теперь, когда имя и титул этой жертвы политики не являются более государственной тайной, я счел, что должен, сообщив публике об известных мне фактах, пресечь распространение вымыслов, которые каждый придумывает, насколько хватает ему фантазии, доверившись автору, составившему себе репутацию на небывших, имеющих видимость правдоподобия, чем его сочинения, например, та же «История Карла XII», и вызывают восхищение.

Библиофилу Жакобу эта версия кажется наиболее разумной из всех.

«С 1664 г., — пишет он, — герцог де Бофор из-за самодовольства и легкомыслия стал причиной неудач нескольких морских экспедиций. В октябре 1664 г. Людовик XIV упрекал его, правда, крайне деликатно и призывал усердней служить королю, применяя врожденные таланты и преодолевая присущие ему недостатки. «Не сомневаюсь, — добавлял король, — что вы не можете не признать, что весьма обязаны мне за то проявление благосклонности, примеры каковой редко дают монархи». Общеизвестны многие случаи, когда действия герцога де Бофора оказывались крайне пагубными для королевского флота. «История морского флота» Эжена Сю, содержащая много новых интересных сведений, весьма точно определяет отношение «короля рынков», как называли де Бофора, к Кольберу и Людовику XIV. Кольбер хотел направлять из своего кабинета все маневры флота, которым великий флотоводец командовал со всей непоследовательностью, присущей его фрондерской и фанфаронской натуре. В 1669 г. Людовик XIV послал герцога де Бофора на помощь Кандии, осажденной турками. Бофор был убит во время вылазки 26 июня через семь часов после прибытия на Крит. Герцог де Навайль, который вместе с ним командовал

французской эскадрой, смог рассказать всего-навсего следующее: «По пути де Бофор встретил толпу турок, которые теснили небольшой отряд, встал во главе его, доблестно бился, но был покинут всеми, и *никто никогда не сумел узнать, что с ним случилось*».

Слух о смерти герцога де Бофора быстро разошелся по Франции и Италии, где во время пышных похоронных церемоний, устроенных в Париже, Турине и Венеции, произносилось множество надгробных речей. Но так как тело его не было найдено среди трупов, многие верили, что он вскоре объявится.

Ги Патен в двух письмах упоминает об этом мнении; он не то чтобы в это верил, но не отрицал категорически.

«Многие готовы держать пари, что г-н де Бофор не погиб! О, *utinam!*¹

«Говорят, что г-ну де Вивонне поручено в течение двадцати лет исполнять должность вице-адмирала Франции, но многим хочется, чтобы г-н де Бофор не погиб, а оказался в плену на каком-нибудь турецком острове; каждый верит во что хочет, я же считаю его умершим и не желал бы оказаться на его месте».

А вот возражения против этой версии.

«Многие донесения об осаде Кандии, — пишет библиофил, — оставленные очевидцами и напечатанные в ту эпоху, свидетельствуют, что турки, по своему обычаю, отрубили герцогу де Бофору голову и выставили ее в Константинополе. Понятно, что обезглавленное нагое тело не было опознано среди погибших. Эжен Сю в своей «Истории морского флота» соглашается с этим мнением, совпадающим с рассказом Филибера де Жарри и маркиза де Виля, мемуары и письма которых хранятся в королевской библиотеке.

Но даже отвлекаясь от опасностей и трудностей похищения герцога де Бофора, — похищения, которое при той достопамятной осаде оттоманские ятаганы в любой день могли сделать ненужным, ограничимся утверждением: переписка Сен-Марса с 1669 по 1680 г. позволяет сделать вывод, что на попечении коменданта Пиньероля в этот период не было никакого другого высокопоставленного узника, кроме Фуке и де Лозена».

Не становясь всецело на сторону ученого в этом пункте, мы можем добавить к его соображениям вот что: вряд ли Людовик XIV счел необходимым применить столь суровые меры против герцога де Бофора. Каким бы ни был герцог фрондером и фанфароном, он отнюдь не представлял такой опасности для королевской власти, чтобы возникла нужда тайно нанести ему удар, а кроме того, трудно представить себе, чтобы Людовик XIV, прочно сидевший на троне, победивший всех врагов в пору своего несовершеннолетия, преследовал бы в лице герцога давний мятеж Фронды.

Для более полного опровержения этой версии библиофил обращает внимание на то, что известное нам пристрастие Человека в железной маске к тонкому белью и кружевам, свойственная ему сдержанность и необычайная деликатность никак не соответствуют довольно грубому образу «короля рынков», каким нам обрисовали Бофора историки.

¹ О, если бы! (*лат.*)

Что же касается заключения, что фамилия Marchiali¹ является анаграммой двух слов *his amiral*², то мы не думаем, что тюремщики Пиньероля развлекались, загадывая загадки проницательным умам своих современников; кроме того, анаграмма вполне может относиться и к графу Вермандуа, которому адмиральский чин был пожалован, когда ему не исполнилось еще и двух лет.

Аббат Пагон, проезжая через Прованс, посетил место заключения Железной маски и рассказывал:

«В конце прошлого века знаменитый узник в железной маске, чье имя, возможно, мы никогда не узнаем, был привезен на острова Сент-Маргерит; всего несколько человек прислуживали ему и имели право с ним говорить. Однажды Сен-Марс беседовал с узником, стоя в коридорчике, примыкающем к камере, дабы издали видеть всякого, кто подходит; в это время сын одного из его друзей, привлеченный голосами, достаточно близко подошел к ним; заметив это, комендант тотчас закрыл дверь камеры, подбежал к молодому человеку и испуганно спросил, слышал ли он что-нибудь. Молодой человек ответил отрицательно, но комендант в тот же день отправил его из крепости, а в письме своему другу написал, что этот случай мог дорого обойтись его сыну и что он отсылает его из страха, как бы тот не совершил еще какой-нибудь опрочетчивый поступок.

2 февраля 1778 г. я полюбопытствовал войти в бывшую камеру несчастного узника; свет в нее проникает через единственное окошко на северной стороне, выходящее на море; оно устроено в чрезвычайно толстой стене на высоте пятнадцати футов над дорожкой, по которой проходит караул, и перегороджено тремя решетками, установленными на равном расстоянии друг от друга, так что часовых и узника разделяли примерно два туаза. В крепости я встретил семидесятидевятилетнего офицера роты, которая охраняла крепость, и он рассказал мне, что слышал от своего отца, служившего в той же роте, что будто однажды часовой заметил под окном узника в море некий белый предмет, выудил его и отнес г-ну де Сен-Марсу; это оказалась рубашка тонкого полотна, на которой узник что-то написал. Г-н де Сен-Марс, развернув ее и прочитав несколько строк, осведомился у часового, не читал ли он из любопытства, что там написано. Часовой решительно заявил, что нет, однако через два дня его нашли мертвым в постели. Офицер не один раз слышал рассказ об этом происшествии от своего отца и от тогдашнего капеллана тюрьмы и считает его неоспоримым фактом. Другой факт тоже кажется мне достоверным, свидетельства о нем я собрал в тех же местах и в Леренском монастыре, где о нем еще не забыли.

Искали служанку для узника; некая женщина из деревни Монжен предложила свои услуги, надеясь, что на этой службе составит состояние детям, но, когда ее предупредили, что ей нельзя будет больше видаться с ними и даже общаться с другими людьми, она тут же отказалась разделить заточение с узником, за знакомство с которым пришлось бы уплатить та-

¹ Под этой фамилией был похоронен Человек в железной маске.

² Здесь адмирал (*лат.*).



кой дорогой ценой. Еще я должен добавить, что на двух оконечностях форта со стороны моря были выставлены посты, которым был дан приказ стрелять по судам, плывшим ближе определенного расстояния.

Женщина, прислуживавшая узнику, умерла на островах Сент-Маргерит. Брат офицера, о котором я только что говорил и который пользовался доверием Сен-Марса, часто рассказывал сыну, что однажды ночью принял в тюрьме труп и на спине отнес его на кладбище. Он думал, что это умер узник, но это оказалась его служанка. Вот вместо нее и искали другую женщину».

Аббат Пагон привел любопытные и до той поры неизвестные подробности, но так как он не назвал имен, его сообщение не поддается опровержению.

Вольтер не ответил Лагранж-Шанселю, умершему в том же году. Фрерон, желавший отомстить Вольтеру за то, что тот изобразил его в самом омерзительном виде в «Шотландке», выставил против него куда более грозного противника. Сент-Фуа выдвинул совершенно новую версию, на которую его натолкнул отрывок из Юма. В 1768 г. он заявил, что «узником в маске был герцог Монмут», побочный сын Карла II, осужденный за мятеж и обезглавленный в Лондоне в 1685 г.

Вот этот отрывок из английского историка:

«В Лондоне распространился слух, что герцог Монмут был якобы спасен и один из его сторонников, очень похожий на него, согласился вместо него умереть, меж тем как подлинный осужденный был тайно переправлен во Францию, где его ждало вечное заточение».

Поразительная приверженность английского народа к герцогу Монмуту и убежденность этого юного принца, что нация ждет лишь вождя, чтобы свергнуть Иакова II, побудили его начать предприятие, которое,

возможно, и удалось бы, осуществляясь оно с большим благоразумием. Монмут высадился в заливе Лайм в графстве Дорсет, имея всего лишь сто двадцать человек; вскоре у него было уже шесть тысяч, некоторые города перешли на его сторону, и он провозгласил себя королем, утверждая, что рождение его было законным и у него есть доказательство тайного брака Карла II с его матерью Люси Уолтерс. Он вступил в битву с королевской армией, и победа уже клонилась в его сторону, но у него кончились порох и пули, а лорд Грей, командовавший его кавалерией, трусливо бросил его. Несчастный Монмут попал в плен, был доставлен в Лондон и 15 июля приговорен к смертной казни.

Опубликованное в «Веке Людовика XIV» описание узника в железной маске вполне подходило к герцогу Монмуту. Сент-Фуа собрал все возможные свидетельства, чтобы подкрепить свою версию. Он воспользовался следующим отрывком из анонимного романа «Любовные увлечения Карла II и Иакова II, королей Англии»:

«Перед *мнимой* казнью герцога Монмута пришел сам король в сопровождении трех человек, чтобы вывести его из Тауэра. Монмуту надели на голову капюшон, после чего король и его спутники сели вместе с ним в карету».

Сент-Фуа также сообщает, что отец Турнемин вместе с духовником Иакова II отцом Сандерсом нанес визит герцогине Портсмутской после смерти принца, и герцогиня сказала, что никогда не простит королю Иакову, что он допустил казнь герцога Монмута, забыв о своей клятве у смертного одра брата, который рекомендовал ему ни в коем случае не лишать жизни своего побочного племянника, даже если тот поднимет мятеж. Отец Сандерс с живостью ответил: «Король Иаков сдержал клятву».

Об этой клятве упоминает Юм, но следует отметить, что мнения историков по этому вопросу разошлись. «Всеобщая история» Гатри и Грея и «История Англии» Рейпена Тойреса и Барроу о ней умалчивают.

«Некий английский хирург по имени Нелатон, — пишет далее Сент-Фуа, — проводивший все утра в кафе «Прокоп», обычном месте встреч писателей, рассказывал, что, когда он был помощником хирурга, жившего у Сент-Антуанской заставы, за ним прислали из Бастилии, чтобы пустить кровь узнику; комендант провел его в камеру, где находился узник, жаловавшийся на сильную головную боль; узник говорил с английским акцентом, был одет в черно-желтый халат с крупными золотыми цветами, а лицо его было скрыто салфеткой, завязанной на шее».

Утверждение это выглядит неправдоподобным: невозможно использовать салфетку как маску, а кроме того, в Бастилии был хирург, врач и аптекарь, и никто не мог пройти туда без дозволения министра; даже на соборование нужно было разрешение начальника полиции.

Но поначалу эта версия не нашла противников, и, казалось, она окончательно победила, возможно, по причине воинственного и нетерпимого характера Сент-Фуа, который не выносил критики; его шпага навела еще больший страх, чем перо, и ему просто боялись перечить.

СОДЕРЖАНИЕ

Семейство Ченчи. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	7
Маркиза де Бренвилье. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	41
Карл Людвиг Занд. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	105
Мария Стюарт. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	153
Марикиза де Ганж. <i>Перевод И. Русецкого</i>	315
Мюрат. <i>Перевод И. Русецкого</i>	357
Семейство Борджа. <i>Перевод И. Русецкого</i>	391
Юрбен Грандые. <i>Перевод А. Брагинского</i>	541
Ванинка. <i>Перевод И. Русецкого</i>	609
Кровопролития на Юге. <i>Перевод Е. Баевской</i>	653
Графиня де Сен-Жеран. <i>Перевод С. Головой</i>	829
Иоанна Неополитанская. <i>Перевод Э. Шрайбер</i>	867
Низида. <i>Перевод С. Головой</i>	947
Дёрю. <i>Перевод О. Кустовой</i>	981
Мартен Герр. <i>Перевод С. Головой</i>	1073
Али-паша. <i>Перевод Г. Лихачевой</i>	1109
Вдова Константен. <i>Перевод Г. Лихачевой</i>	1197
Железная маска. <i>Перевод Б. Канделя</i>	1245